

Натали, здесь есть частичка той правды, которую ты так хотела узнать. А может, и нет. Может, всё это я выдумал.

Глубокую старину,
То, что давно минуло,
Стану я вспоминать,
Даже если луну этой ночью
Затуманят вдруг облака.
Сайгё

В детстве мама частенько пела мне колыбельную. Песню ту я не совсем понимал: несмотря на явную простоту, она казалась мне странной, временами запутывающей. Но меня зачаровывали мамин голос, её ровное дыхание, едва уловимый аромат её духов... Так я лежал в своей словно бы залитой темнотой комнате, кутался в одеяло и, почти уже засыпая, слушал, как мама тихо-тихо поёт. Можно даже сказать, мурлычет. И всё было хорошо, спокойно. Ничего больше не пугало и не тревожило. Мама была рядом, а её голос творил невозможное—он рисовал яркие, порой фантастические картины у меня в голове. Я видел величественные и таинственные пейзажи Востока из старинных сказок. Видел живописные оазисы и подрагивающие в знойном воздухе, увлекающие к горизонту миражи. Видел груженный изысканными яствами, тончайшими тканями и мягкими коврами, золотой посудой и драгоценными камнями караван, что тянулся по барханам заколдованной пустыни, пески которой по ночам перемешивались со звёздами, днём же вздымались навстречу солнцу. Тот караван неспешно двигался в направлении далёкого и прекрасного города, чьё название было запретно и потому сокрыто от меня. Но я знал, что в дивном городе этом всегда царит весна; знал, что там текут древние реки, подарившие жизнь всему живому, и с края мира низвергаются шумные водопады. И я верил, что где-то в тени деревьев, в одном из множества живописных садов, меня ждёт не дожётся красивая девушка с тёмными, будто южная ночь, глазами...

Знаете, этот текст не является рассказом в привычном смысле слова; этот текст—лишь шальные мысли, отдельные образы из памяти и, конечно же, грёзы засыпающего уже человека. Этот текст

ещё не откровение, но предчувствие откровения, его ожидание...

Ныне, перед тем как погрузиться в сон, я нередко вспоминаю полуночные перелёты в грозу—что-то необыкновенное есть во всём этом, хотя, быть может, и идеализирую. Точной уверенности у меня нет, ведь я так давно не летал, пусть небо и снится порой. Впрочем, как и океан... Не важно. Пока что всего этого я лишён. Может быть, там, в будущем, когда-нибудь... Всё может быть. Сейчас же, увы, как-то статично, обыкновенно, размеренно... аж дрожь пробирает от этих слов! Но тогда всё казалось вполне естественным, даже закономерным. Ценить начал лишь много позже—не когда лишился, а когда стал понимать. Мистика обыкновенная по цене пачки сигарет или человеческой жизни. Всякое случается.

В полёте меня укачивало. Я сидел у иллюминатора, сосал конфетки «Земля-воздух» (будто название класса ракет) и отрешённо поглядывал на небо. Оно разделилось. Наш самолёт оказался где-то между слоями облаков—словно бы в иной реальности. И получилось, что облака были одновременно сверху и снизу. А в середине—сплошное ничто. Над нами простиралась архаичная тьма, под нами—нечто сюрреалистическое: размеренные движения кистью гениального художника; густые мазки тёмно-синей краски, за которыми скрывался ландшафт, методично поделённый урбанизацией на части. Израненная земля, покрытая заплатками,—свидетельство многовекового хозяйничанья человека.

Самолёт то и дело проваливался в воздушные ямы, его потряхивало. Сморганные такой качкой, многие из пассажиров дремали. А я вот уснуть не мог, хотя очень того хотел. Я мучился, даже молился, чтобы скорее уже закончилась эта проклятая тряска и изматывающая тошнота, этот пробирающий гул и болезненное закладывание ушей. При этом я то и дело поглядывал в иллюминатор, любовался кроющими пространство молниями. Вспышки ломаных линий—бессильный гнев древнего божества, преданного и забытого—между верхним и нижним слоями облаков. Прекрасные и пугающие. Это было захватывающее зрелище! Оно отвлекало и от тряски, и от тошноты. Даже от мысли, что где-то по другую сторону времени

меня ждёт холодный Комсомольск. Чужой город, которого я очень боялся. Явных причин тому не было, но... ведь мне едва исполнилось девять лет! Я оставил знакомый двор, родной класс, друзей и свою первую любовь, чтобы отправиться едва ли не на самый край света — к месту службы отца. Тогда это казалось довольно-таки устрашающим. Уж поверьте.

Сейчас о том времени я вспоминаю с улыбкой.

Наивная вера ребёнка в чудеса: в сокрытую меж туч и облаков страну драконов, храбрых героев и коварных богов, обрушивающих на простых смертных громы и молнии; вера в первый поцелуй, способный пробудить красавицу от забытия; вера в то, что жизнь есть сплошное путешествие по неведомым землям в поисках Золотого руна. И сдаётся мне, что истинная прелесть жизни кроется в непонимании её законов — этих основ, на которых и держится весь наш быт. Незнание порой дарует надежду, а частенько и веру. Может, это не так уж и плохо? Я верил и надеялся, и мир, населённый грёзами и фантазиями, открывался мне. И нет, там не было ни богов, ни драконов, лишь самые обычные истории. Но... может, не такие уж и обычные?

Ныне далеко позади, где-то в тумане прожитых лет, остались старая лодка «Энтерпрайз», Ведьмина гора и призраки Жуткого дома, а ещё болота, кишмя кишашие жуками-плавунцами, и друзья — верные, родные...

И, конечно же, первая любовь.

Её звали Надя. Худая русоволосая девочка с задатками лидера, готового пробудиться в ней с минуты на минуту.

Отвечьте: а вы верите в любовь с первого взгляда? Я, например, нет. В принципе, сейчас я вообще мало во что верю. Не только в любовь, но и в дружбу как таковую, или что в одной из заброшенных девятиэтажек Завитинска взаправду водились привидения (которых, естественно, многие из моих друзей «видели» вживую). Но не верить — это удел меня теперешнего: лысеющего, ворчливого, повсюду выискивающего некие скрытые смыслы, насмехающегося над людьми с их примитивными желаниями и убеждениями, прочее в том же духе. Тогда — в том времени — был всего-навсего мальчишка. И то, что по обыкновению именуют «взрослением», ещё не испортило его. Всего лишь ребёнок, осваивающий такие святые истины, как мечты и противостоящая им реальность, как дружба, неумолимый ход времени или же пресловутая любовь с первого взгляда.

Надя.

Что я могу рассказать о ней? Да ничего особенного! Повстречайся она мне где-нибудь на улице или в очереди за хлебом, я бы на неё даже не взглянул. Не то чтобы она подурнела, просто, скорее...

очеловечилась, что ли. Её образ в моей голове утратил всякие краски, растерял флёр волшебства, сладострастную недостижимость и наивное желание защищать её от дракона — от всех драконов, что воруют принцесс и тем самым служат отличным испытанием любви и храбрости принца. В общем, её образ лишился всего, чем я некогда её наделил. Так Надя сделалась неприметной частью прохожих, превратилась в очередную тень на асфальте жизни, мелькнувшую среди множества других теней.

Но тогда...

Да, в то время она была для меня всем. Думаю, вы понимаете.

Третий класс столь ненавистной мне школы номер три Ленинского района города Ярославля. Сам я был пухлым, закомплексованным, с проблемами в плане учёбы и спорта, словоохотливым и вместе с тем скрытным мальчуганом. А ещё я смешно одевался. Попытаюсь объяснить. Как и всякому мечтателю с чересчур развитым воображением, мне постоянно мерещились всевозможные приключения в лучших традициях Индианы Джонса. Я грезил наяву, жил в выдуманном мире и свято верил, что вот сегодня обязательно что-нибудь да произойдёт — что-то невероятное и дух захватывающее. И был у меня небольшой пунктик: вся моя одежда подразделялась на два типа — так называемая «гуляночная» и школьная, «парадная». Последнюю я, естественно, терпеть не мог. Она казалась мне до ужаса неудобной, вычурной, дурацкой. А вот с «гуляночной» всё обстояло иначе. Эти несколько затасканных до дыр футболок и парочку старых, изодранных на коленках джинсов я, можно сказать, боготворил. Отправляться на бой с драконами требовалось исключительно в этом, а никак не в глупой «парадной» одежке. Пунктик же заключался в том, что в ожидании мифических приключений я всегда пытался оставаться готовым, облачённым в «сияющие рыцарские доспехи». Даже в школе. Тем более в школе. И для этого мне приходилось надевать свои драненькие джинсы под обычные «парадные» штаны...

В общем, как сами можете судить, я оказался не совсем тем мальчишкой, кого большинство девчонок избирает объектом своих первых любовных вздыханий. Никакой не принц, даже не герой — так, просто Женька.

Что касается Нади — она была новенькой в нашем классе. Её семья приехала откуда-то издалека и поселилась в двухэтажном доме (их ещё называли немецкими), в паре кварталов от меня. У Нади имелась старшая сестра, и их обеих тут же определили в ближайшую школу. Первый раз Надя пришла в класс с небольшим опозданием. Урок уже начался, и не было типичного шума и гама, поэтому все обратили внимание на новенькую девочку ещё до того, как учительница её представила. Надю посадили на одну из задних

парт (все остальные попросту были заняты), и она затравленно озиралась по сторонам, чувствуя себя явно не в своей тарелке. В принципе, я прекрасно её понимал: быть новеньким в школе — задача отнюдь не из лёгких. День выдался тёплым, и на ней были светлый летний сарафан, который очень ей шёл, и в тон сандаляки. Дождавшись, когда все любопытствующие носы отвернутся, и немного освоившись, Надя разложила письменные принадлежности, нехотя открыла тетрадь с учебником и без особого интереса уставилась на доску.

Спустя какое-то время я обернулся и глянул на неё. Надя покачивалась на стуле и откровенно скучала. Она перехватила мой взгляд, и я невольно улыbnулся. Как-то деликатно, даже по-своему жеманно, она подняла руку и показала мне средний палец.

В тот момент я и понял, что влюбился.

Ныне идёт эра виртуальных знакомств, виртуальной дружбы, виртуальных отношений, а то и натуральных виртуальных семей. Этакая «жизнь онлайн», неизменно приближающая нас к антиутопическим кошмарам многих писателей-фантастов. Всевозможные социальные сети, аськи-шмаськи, «Твиттеры», «Живые Журналы» и прочая ерунда — всё сделано с целью облегчить жизнь, максимально упростив общение с другими представителями своего вида. Не знаю, может быть, отцы-основатели и идейные вдохновители виртуализации мира просто не понимают, что с подобным упрощением жизнь теряет всякую прелесть? Способен ли этот, безобидный на первый взгляд, прогресс убить человека в человеке? И изменится ли что-либо, если люди вдруг поймут, что способен? Ведь теперь всё слишком легко, слишком доступно, слишком дешево и потому всё чаще бессмысленно, обесценено. Никаких тебе драконов, никаких рыцарей. Так эпоха простых человеческих открытий постепенно сменяется бесконечным зависанием в сети, гонкой за популярностью, повсеместной саморекламой по любому поводу и без, а ещё насмешками, травлей, цитированием чужих мыслей на публику — безо всякого понимания, без диалога с автором, — наглой попыткой выдать эти мысли за свои, снова насмешками, отрицанием морали и нравственности, тотальным ощущением полной безнаказанности. В результате Интернет, призванный облегчить доступ к информации, становится очередной соской крикливого человечества. Того и гляди мы заткнёмся навсегда: мир погрузится в тишину, нарушаемую лишь щёлканьем клавиш.

А я вот до сих пор помню, как детьми мы высыпа́ли во двор, собирались в группы для разных игр, ходили по квартирам и спрашивали уставших взрослых, а дома ли тот или та, а выйдут ли они сегодня гулять. Друг с другом мы договаривались встретиться там-то и в такое-то время, приходили,

ждали, даже не будучи уверенными, что дождёмся. И во всём этом была своя прелесть, своё очарование... Мы сидели на скамейке и играли в «топорики», а позже и в «бутылочку»; мы шутили, смеялись, ссорились и мирились. И это было настоящим. И дом всё так же оставался крепостью, но он никогда не превращался в камеру добровольного заточения. Теперь же нас привязали к диванам так называемые возможности нашего времени, живое общение свелось к переписке: люди — к безжизненному профилю с именем.

И, в принципе, не поспоришь — всё действительно стало проще. С мобильником в кармане и ноутбуком, подключённым к Интернету, не надо бродить по подъездам, звонить в квартиры и спрашивать, а дома ли тот или та, а выйдут ли они погулять. Не надо ждать. Не надо надеяться. Даже не обязательно стыдиться тех слов, которые ты тщетно пытаешься подобрать, чтобы выразить собственные чувства, — ведь всегда можно удалить своё сообщение, переписать его заново, трижды отредактировать и после уже отправить получателю. Вовсе не обязательно убивать дракона — достаточно просто заблокировать его. Вовсе не обязательно целовать принцессу — хватит и картинки с милым котиком. При этом ты остаёшься свободен от собственной неловкости и смущения, от внимательных глаз, что устремлены на тебя. Ты остаёшься свободен от себя самого и от всего, что делает тебя человеком. И, быть может, это действительно прекрасно?

Но откуда тогда щемящее чувство некоей искусственности, какой-то тоски?

Стоит ли упрощение жизни того, что мы в итоге теряем?

А помимо самолёта, наша семья путешествовала и поездом. Восьмидневная тряска в купе — это вам не пирожок на базаре украсть. Лишь безнадежные романтики вздыхают об убаюкивающем стуке колёс и странной неопределённости (интриге? загадке?) в общении с другими пассажирами. Но когда восемь суток едешь в отдалённую часть страны, стук колёс исчезает. Он по-прежнему есть, но существует уже в качестве неотъемлемого фона. Так ты перестаёшь обращать на него внимание. И по мере того, как стук колёс делается частью окружающего мира, остальные пассажиры и вовсе становятся близкими знакомыми. Зачастую они оказываются гораздо ближе, нежели многие из родственников — тех малознакомых людей, что присылают открытки на Новый год и этак раз в пятилетку навещаются погостить. В принципе, не побоюсь этого утверждения, но восемь дней в одном вагоне делают всех пассажиров частью твоей родни. Большой и довольно разношерстной родни. Тут есть и враги, и друзья — всё как полагается.

Прям идеальное общество в миниатюре, где неугомонные дети спуют из одного купе в другое, в проходе на верёвках болтается свежестыранная бельё (для меня до сих пор остаётся загадкой, каким образом люди стирают вещи в поездах), и можно прийти к любому в гости — тут поесть, там поиграть, поболтать о чём-нибудь, даже вздремнуть... Налицо все радости жизни!

Таков этот маленький дом на колёсах — тот самый караван из колыбельной, — неумолимо движущийся к точке невозврата. Конечная станция неизменно разрушит эту семью, останутся лишь данные друг дружке обещания, записанные на клочках бумаги адреса и телефоны, пожелания всего наилучшего в жизни (обычно, если люди желают нечто подобное, значит, они подсознательно готовы к тому, что больше никогда вас не увидят), совместные фотографии и... воспоминания, конечно же. Отдельные образы и целые видения, что являются ближе к ночи, когда отчаянно пытаешься уснуть.

С другой стороны, может, оно не так уж и плохо, ведь правда?

— Посмотри, Женя, это Благовещенск!

Слова доносятся до меня сквозь все прошедшие годы, и тело невольно пробирает дрожь. В самом названии этом уже сокрыто нечто мистическое, от чего дух захватывает. Когда слышу «Благовещенск», перед глазами расстилается панорама ночного, залитого россыпью всевозможных огней города на древней реке — мираж, видение, волнующий символ из старинных сказок, место, где меня кто-то ждёт...

Мне так и не довелось побывать в Благовещенске, хотя запомнил я его навсегда.

То был один из последних дней нашего путешествия: поздний-поздний вечер, уставшие от долгой дороги родители, крик какой-то капризной девчонки в соседнем купе (она мне очень не нравилась) и мельтешение тьмы вперемешку со вспышками фонарей за окном.

И вдруг — на тебе!

— Посмотри, Женя...

Тогда я прильнул к окну и смотрел, смотрел... Я смотрел на то, чего не видел ещё ни разу в жизни, на что в силу своей неопытности попросту не обращал внимания. Далёкий и загадочный город, хаос звёзд, отражённых в тёмных водах Амура, движение фотонов света во тьме. Ночной город. Настолько близкий и столь недостижимый. Там, куда мы направлялись, всё было по-другому. Попади я в Благовещенск, мне бы, наверное, тоже показалось, что всё по-другому, — такова особенность человеческой психики.

И я осознаю, что эта живописная картина из прошлого нынче чрезмерно идеализирована памятью, а многих деталей теперь уже и не вспомнить.

Но всё же, когда я думаю о сиянии ночных городов, об их пленительной красоте и цветастости, когда пытаюсь отобразить их звёздное очарование на бумаге, перед глазами неизменно встаёт Благовещенск.

Мама, спасибо тебе за это воспоминание.

Волей судьбы я чуть не родился на Курильских островах. Мама уехала оттуда на восьмом месяце беременности. И всё потому, что местная больница оказалась не в состоянии принять роды — у них не имелось ни должного оборудования, ни квалифицированного медперсонала; забавный всё же был 1986 год! Так мама пересекла почти всю страну и возвратилась в свой родной Ярославль. А спустя пару дней на свет появился я.

И всё же это не мешает мне считать Курилы своей второй родиной. Ведь почти сразу мама вернулась обратно, и первые полтора года жизни я встретил именно на одном из Курильских островов — на Шикотане. О нём у меня сохранились разрозненные воспоминания, отдельные эпизоды, порой не привязанные к чему-либо фрагменты — этикие обрывки с полотна минувших лет... Что-то сюрреалистическое, пугающее, а местами и забавное, волнующее, ставшее олицетворением той обетованной земли, куда каждый из нас — осознанно или же нет — стремится.

Наверное, именно это я пытался показать в одном из своих рассказов — в «Доме на краю света» — подсознательную жажду вернуться на родные земли. Что касается реальности — возможной в рамках данного литературного вымысла, — то жили мы в убогой однокомнатной квартирке на первом этаже, с минимумом мебели и со страшными обоями, которые я, как только научился более-менее твёрдо стоять на ногах, с прелевиком удовольствием отдираю от стен. Это, естественно, жутко злило родителей, и я прекрасно помню, как они сердились, на пару пытаюсь втолковать мне, что рвать обои ни в коем случае нельзя — плохо, Женя, бяка! Но я всё равно драл обои и с довольной улыбкой демонстрировал папе с мамой куски жёсткой обоейной бумаги.

А ещё у нас за домом находилась взлётная площадка, и каждое утро туда прилетал грузовой вертолёт. Жильцы дома ворчали и матюгались, так как шум по утрам неизменно их раздражал. Мне же, напротив, вертолёт очень нравился. И как только я научился ходить, то с первыми звуками его приближения выбирался из своей кровати — сделать это было не так уж и сложно — и мчался на кухню, окна которой как раз таки смотрели на огороженную сеткой взлётную площадку. Вертолёт меня буквально очаровал. Наверное, меня единственного во всём доме.

А вот телевизионные антенны очень пугали. Я гулял с отцом по занесённым снегом улочкам

и с ужасом косился на эти гротескные фигуры, оккупировавшие крыши нашего и соседних домов. Первые детские кошмары вроде бы тоже связаны с антеннами, но точной уверенности в этом нет.

Особо же запечатлелся в памяти океан. Я увидел его на заре жизни и сразу влюбился—ещё одна моя любовь с первого взгляда. Самая крепкая, насколько теперь могу судить. Океан пугал, завораживал и удивлял одновременно—он был всем! Всем и остался. Будто бы иной мир—заколдованная пустыня из колыбельной, совершенно другая реальность—с песчаными, заваленными гниющими водорослями пляжами, снующими по камням проворными камчатскими крабами, холодным порывистым ветром в лицо и тёмно-синими пенящимися волнами, что порой, на закате, принимали нежно-алый окрас. А ещё корабли вдалеке, будоражащая мысли тень острова Хоккайдо, с которого начинались земли таинственной Японии, и где-то далеко-далеко за горизонтом—истинный край сущего, откуда воды с шумом обрушиваются в первозданную тьму... Океан же всегда оставался равнодушным. Я не интересовал его, а вот он меня—очень! В его глубинах укрылась фантазия Вселенной, порождающая чудовищ и возводящая прекрасные подземные города, манящая и интригующая. Быть может, она до сих пор где-то там? Ждёт, когда я уже вернусь за ней? Когда, наконец, проведу свою вторую родину и покинутый океан?

И правда—когда?

После Шикотана был Завитинск.

Захудалый городишко в Богом забытом краю, волей насмешливой судьбы ставший негласным местом, едва ли не синонимом всего моего детства. Завитинск для меня—это Ведьмина гора, Жуткий дом и лодка «Энтерпрайз», которую мы с друзьями соорудили, чтобы путешествовать по безграничному—в пределах нашего воображения—космосу тамошней местности.

Жизнь моих родителей в этом городке была далеко не безоблачной: отвратительные бытовые условия (холодная вода тонюсенькой струйкой и свет не больше четырёх часов в день), никакого разнообразия будней. Плюс именно в те годы брак их начал трещать по швам. Наша семья крошилась на части, но осыпавшиеся куски не особо меня задевали. Уже тогда я жил своей собственной, отвлечённой от реальности жизнью. Мечтал стать энтомологом, ловил всевозможных жуков, исследовал местные болота, заброшенные постройки и прочее. Сплошное приключение в духе Тома Сойера и Гека Финна, продлившееся несколько лет. Как и полагается, приключение это было полно всевозможных страшных открытий и ужасающих находок, истинный смысл которых дошёл до меня много позже.

Конечно же, я не смог игнорировать Завитинск, и, когда начал писать, большинство моих историй о детях и детстве так или иначе оказались напрямую связаны с этим городишком. Он стал главным местом действия в «Первом дне лета» и «Последнем пути „Энтерпрайза“». Его я описывал в повести «Не ходите, детки, в тот страшный дом играть» и в романе «Сны забытой весны». А ещё везде, где только можно, приводил бесконечные отсылки к нему, упоминания... Если Шикотан олицетворял собой мечту о доме, то Завитинск сделался тем, чем Касл-Рок был для Стивена Кинга и Гринтаун для Рэя Брэдбери (писатели, с которых и началось моё знакомство с литературой),—местом, где мальчишка перестаёт быть мальчишкой, превращаясь в подростка. Ведь именно в Завитинске я впервые столкнулся с мистерией реальной жизни—так воображаемое переплетается с действительностью, а кошмар с красотой.

К примеру, наиболее ярким воспоминанием, характеризующим всю нестандартность Завитинска, был и остаётся образ мальчишки, который беззаботно тащил в руках оторванную собачью голову. Рыжая овчарка с впалыми высохшими глазами. Мальчишка оказался моим ровесником—первым, кого я встретил, как только приехал в этот городок и выбрался во двор—поглядеть, что тут к чему. Впоследствии этот самый мальчишка стал моим лучшим другом. Дальше было круче: тут тебе и кишашие привидениями заброшенные дома, и огромная свалка у оврага, где однажды мы нашли отрезанную руку, и Ведьмина гора вдали за огородами, где я наткнулся на повозку, полную дохлых свиней, и старое ветвистое дерево сразу за свалкой, прозванное кошачьим, потому что там вешали неугодных людям кошек, и... много чего ещё! А во дворах ничего не стоило отыскать боевой патрон, скажем, от АКМ или ПМ. И все эти «сокровища» обязательно швырялись в костёр. Случалось, они стреляли—одному парню даже продырявило шапку, и, поверьте, то было действительно здорово.

Как-то раз меня и вовсе чуть не утопили. Случилось это дело на Кочегарке, куда мне ходить строго-настрога воспрещалось, но куда—ввиду этого самого запрета—влекло с непреодолимой силой детского послушания. На дворе стоял холодный октябрь, но я всё ещё упорно пытался обнаружить в болотах жуков-плавунцов, да и вообще какую-нибудь живность. В общем, у одного из таких болот ко мне и подошла тройца беспризорников. Двое из них были намного старше меня—лет по семнадцать (может, конечно, и меньше, но не забывайте: я был маленьким, и все мне казались огромными), а третий—явно мой ровесник. Одетые в рвань, лохматые и чумазые, они глумливо улыбались. Опасности я не почувствовал, зачем-то начал объяснять им, что именно делаю, какие жуки меня

интересуют и прочее. А потом и сам не заметил, как очутился в ледяной воде, где меня начали в буквальном смысле слова полоскать. Я кричал, они смеялись. Много же воды я тогда наглотался.

В итоге беспризорникам наскучила эта забава, они бросили меня в болоте и ушли. А я, сырой и рыдающий—ну прям посрамлённый рыцарь, не сумевший одолеть дракона,—уныло поплёлся домой. . .

И теперь ответьте мне на такой вопрос: верите ли вы в судьбу? Я вот не особо, хотя, случается, начинаю сомневаться: а так ли прав я в своём неверии? Просто эта история однажды повторилась. В другом городе, при других обстоятельствах и совершенно с другими людьми. Конечно же, тогда она имела и иное развитие событий. Хотя не провести аналогию ну никак нельзя! Впрочем, давайте-ка обо всём по порядку. . .

Если вернуться к Завитинску, могу сказать, что он многому меня научил. Не знаю, благодарить ли его за это. . . Может, не стоит? Думаю, став неотъемлемой частью моего детства, всей моей жизни, он вобрал в себя и частичку меня самого. Я получил опыт и красочные воспоминания, море эмоций и некоторые забавные и не очень моменты. Но ведь что-то я там и оставил, да?

А что мы оставляем в городах своего детства?

Лодка «Энтерпрайз»—древняя посуда, которую мы силой воображения превратили в космический корабль. Сколько всего она нам подарила! А мы так и бросили её там—где-то на краю земли, в забытом всеми, ныне сделавшимся городом-призраком Завитинске. Мы не пришли попрощаться, оставив «Энтерпрайз» трухлеть и покрываться плесенью в старом сарае у озера.

Лишь много позже, будучи уже курсантом военной академии, я вспомнил о ней. Исправить ничего было нельзя, а потому я попросту написал рассказ, в котором мы всё же добрались до озера в тот вечер. Рассказ, в котором мы отправили «Энтерпрайз» в его последнее плавание.

«...бесхозный, но свободный „Энтерпрайз“ медленно плыл по озеру—это было его последнее путешествие, последний „звёздный“ путь, который он вынужден был совершить уже без своего экипажа. . .»

Плыви, наша лодка, наш космический корабль! И пусть твоя команда давно уже разбрелась по миру, окончательно потеряв друг друга из виду, в моей памяти ты всё ещё живёшь—по-прежнему исследуешь закоулки Вселенной, спасаешь мир от гибели и сражаешься со злыми инопланетянами. . .

Мысли о Завитинске плавно перетекают в мысли об отце с его многочисленными командировками по всему Дальнему Востоку, о нашей семье, о школах, что мне приходилось менять, о девочках, которые мне нравились и которые не обращали на меня

ни малейшего внимания, как и о той единственной, кого я тайно любил все эти годы. Так, постепенно, я прихожу к тому, чем для меня являлся позор.

Я никогда не был спортивным. Как нечто абстрактное и далёкое спорт, конечно же, меня интересовал—я любил игры, где нужно бегать, прятаться, пинать мяч. Но я не представлял себя частью профессионального, лишённого всякого азарта спорта—Филдсовская премия по математике или же Нобелевская в области физики казались мне куда более достижимыми, нежели олимпийская медаль. Возможно, это связано ещё и с тем, что я отродясь не любил принуждение. А скучный бег на три километра или, скажем, не менее скучный норматив по подтягиванию—это явно выраженное, зачастую бессмысленное принуждение. Или так, или никак.

От бега я отлынивал всеми возможными способами: болел, прогуливал, ходил с дистанции. Последнее случалось чаще всего. Правда, бывали и порывы вдохновения, когда я оказывался полон уверенности в том, что обязательно выполню норматив—уложусь в указанное время и получу заслуженную тройку. Тройка тоже ведь оценка, разве нет? Для меня же она была ещё и победой, моим личным торжеством над самим собой.

Увы, всего лишь химера. . .

Бежал я всегда позади всех. Тощие забияки—мои одноклассники—сразу же удирали далеко вперёд, а я выдыхался, с трудом волочил ноги, всё больше и больше снижая темп. Через какое-то время моё вдохновение—если оно меня и посещало—улетучивалось, как пары эфира, на смену ему приходили усталость и отвращение, бой барабанов в ушах и, конечно же, стыд.

Так и вижу небольшой парк возле школы—тощие берёзки, битые фонари, изгрызенный временем и припорошённый палой листвой асфальт; слышу крики девчонок, пыхтение обгоняющих меня одноклассников. . . А где-то на периферии зрения—размытые силуэты одиноких прохожих, машины, дома. . . Город, с прищуром взирающий на мой позор. Учитель по физкультуре—высокий и худощавый пятидесятилетний дядька, угрюмо глядящий в свой секундомер. . . Вот и все впечатления.

Девчонки толпились на обочине. Они что-то кричали, визжали, хлопали в ладоши, смеялись и тыкали пальцами. Слов было не разобрать из-за собственного гулко сердцебиения, пот заливал лицо и глаза. Было очень стыдно. Ещё и потому, что стоило бросить один только взгляд в сторону девчонок,—лишь один!—как я сразу же наткнулся на Надю. Она тоже смеялась. Тоже тыкала в меня пальцем и что-то кричала.

И я готов был сквозь землю провалиться—всё что угодно, лишь бы не быть на этой чёртовой дистанции, не потеть, не бежать. . .

Только бы не стать вновь посмешищем!

Наверное, именно в эти моменты осознание того, что никакой я не рыцарь, а так — потешный персонаж из статистов, — больше всего давало о себе знать. И, быть может, именно таким образом формируется боязнь общественного мнения? Страх перед толпой: кто что подумает, кто что скажет. Так вы словно превращаетесь в знаменитую эйнштейновскую рыбу, считающую себя душой лишь потому, что она не умеет взбираться на деревья. Подобное убивает всякую оригинальность, а зачастую и надежду.

Надежда... В этом слове есть что-то по-своему мнящее, а вместе с тем и пугающее. Вне зависимости от того, идёт ли речь о женском имени или о чувстве как таковом. Точно могу сказать, что надежда — вещь очень сильная, и при этом сломать её не стоит никакого труда. Порой достаточно одного только жеста, взгляда, молчания...

Когда я служил в Калуге (ещё один не бог весть какой городишко), то какое-то время подумывал написать повесть о том, что за жизнь там была. Нет, не то чтобы страшная или отвратительная... В общем, максимум, чего из этой затеи вышло бы, так это текст страниц этак на семьдесят. Название я придумал сразу: «Сто дней одиночества». Не шибко оригинально, но зато как нельзя лучше отражало суть. Сто дней моего одиночества и одиночества тех, кто был рядом. Итого примерно на двести тридцать дней меньше, чем я пробыл на этой самой службе, возвращая Родине предписанные мне с рождения долги. Родине, которой не было до меня никакого дела.

Возможно, получилась бы хорошая повесть. Кто знает?

И один из её эпизодов описывал бы случай со старшим прапорщиком Андреем. Тридцатилетний мужчина невысокого роста, крепкого телосложения, добродушный и улыбочивый. Увы, когда он напивался, то, как оно со многими и бывает, становился неадекватным, даже агрессивным.

Как-то раз он ввалился ко мне в стельку пьяный. Жили мы все над КПП, в маленьких комнатухах по два-три человека. Условий никаких. Одна паутина и теснота. Ещё пыль, оседающая на сумках с вещами — сумках, заброшенных под кровать, сумках, которые мы никогда не разбирали по той самой причине, что класть вещи было попросту некуда. Две кровати, две тумбочки, кособокий стул и громоздкая металлическая вешалка, на которой болталось наше военное барахло. В общем, далеко не сахар.

То была последняя моя ночь в Калуге. Утром я собирался запрыгнуть в поезд и навсегда убраться из армии. Меня сократили по ОШМ. Приказы были подписаны, печати проставлены, деньги выплачены, руки пожаты, а всевозможные документы собраны и упакованы в кожаную папку.

Оставалось лишь дожидаться утра, а дальше... изредка, в минуты пьяного отчаяния либо же тёмными безлунными ночами (как сейчас, например), вспоминать о времени, проведённом в Калуге.

Так вот, Андрей притащился ко мне далеко за полночь. Он с трудом держался на ногах, хотел говорить, кричать, драться, любить и ненавидеть. Хотел жить, и чтобы его непременно услышали. Пьяницы всегда хотят, чтобы их услышали. А в его комнате в мареве табачного дыма брэнчали стаканы, в коридор рвались голоса и развязный хохот. Гремела музыка. Как сейчас помню, то был «Наутилус»:

И когда на берег хлынет волна
И застынет на один только миг,
На земле уже случится война,
О которой мы узнаем из книг...

И вот Андрей оказался на пороге моей комнаты и грустно уставился на меня. Я курил, сидя у окна и поглядывая в ночь. Спать не получалось — только не тогда, когда знаешь, что через несколько часов наступит утро и всё это милитаризированное безобразие прекратится. Форма с погонами — та самая «парадная» одежда, словно бы преследующая меня из детства, — так и будет болтаться на вешалке, постепенно зарастая пылью. Ты же уедешь далеко-далеко — прямоком в другую жизнь, где всё лучше и проще.

Да, тогда я ещё в это верил, представляете?

В общем, Андрей был гол по пояс, и я впервые сумел нормально рассмотреть наколки, покрывавшие его жилистое тело. Многочисленные свастики, символика СС, орлиная голова...

— Удивлён? — спросил он заплетаящимся языком. — Ага.

— Есть чё поднять?

Я протянул ему пачку сигарет. Он уселся на кровать моего соседа — того самого Вани из рассказа «Любовь» — и, проигнорировав сонное бормотание последнего, молча закурил.

— Фашист? — поинтересовался я.

— Типа того...

Чтобы спрятать улыбку, мне пришлось отвернуться к окну. Летняя ночь и далёкий лай собак. А где-то ещё дальше — гудок ночного поезда. И мне вдруг подумалось, что если дорога не занимает восемь суток, то никакое это не путешествие, это... Впрочем, не важно. В любом случае приятно возвращаться домой, зная, что всё уже закончилось. Но лучше бы я ехал ночью, нежели ранним утром. Ночью как-то проще, естественней, даже привычней.

— Такие вот дела, — вздохнул Андрей.

— Как же ты так? — спросил я. — Командира Нандыр зовут, замполита — Расул, половина солдат не пойми какой национальности. Как?

— Вот и я думаю: как?!

Мы замолчали.

А потом Андрея понесло. Под песни Бутусова из соседней комнаты он стал рассказывать о своей жизни. О том, как трудно ему подчиняться этим «чуркам», о том, как сложно душить свои принципы, о том, как было спокойно когда-то и как теперь страшно думать о будущем. Он несколько раз вытаскивал из кармана мобильник и демонстрировал фотографию улыбающейся русоволосой девочки лет девяти. Дочка. Его счастье и небесный свет. Он гордился ею, по несколько раз перечислял все её заслуги: победы на олимпиадах, отличные оценки в дневнике, примерное поведение, успехи в кружке балльных танцев... А потом рыдал, рыдал, рыдал. Он вытирал лицо грязными руками, ронял на пол сигареты и тут же ткнулся за новыми. Постоянно что-то бормотал себе под нос. Собравшись с мыслями, он поведал о том, как едва не бросил жену и ребёнка, намереваясь уйти к какой-то богатенькой дамочке, окружившей его деньгами и перспективами. Рассказал, как вернулся в квартиру за вещами, и побледневшая жена протянула ему сумки—без криков, без слёз, безо всякой надежды. Дочь же вцепилась в рукав его куртки и умоляла не уходить. А на улице в своей шикарной иномарке сидела богатенькая дамочка и терпеливо ждала... — Фин, ты ж писатель!—ни с того ни с сего вспомнил Андрей.—Мля, очень тебя прошу... Фин, когда-нибудь... напиши обо всём этом. Об этой сраной части! О том, как мы тут жили, как с катушек съезжали... Как всё было на самом деле! Так и напиши—честно, без прикрас, без всяких там выдумок. Расскажи, пусть все знают!

Я же смотрел на него и его наколки—орлы, свастики, символика СС,—а затем дальше, в коридор, куда остальные офицеры выбрались покурить, что-то обсуждали, над чем-то громко смеялись. И ещё дальше, много-много дальше... Наверное, именно в тот момент я и понял, что сто дней—это лишь моё одиночество. А сколько этих дней нужно собрать, сколько историй поведавать! Нет, это будет уже не «Сто дней одиночества» и даже не «Сто лет...». Это будет «Тысяча...», а то и «Сто тысяч лет одиночества».

Эх, Андрюха, прости меня, что я так и не выполнил своего обещания.

Он не ушёл из семьи.

Поставил сумки и спустился к своей дамочке. Та глянула на него и всё поняла. Улыбнувшись, сказала: «Знаешь, а ты настоящий мужик. Брось ты семью—уже завтра я бы тебя прогнала. Ты бы стал мне попросту не нужен, перестал бы быть мужчиной в моих глазах». На этом они попрощались, и дамочка укатила прочь. Андрей же вернулся обратно к жене и дочке.

И мне кажется, это было самым важным решением в его жизни.

Вновь в памяти ночные перелёты...

Снаружи бушевала гроза, а меня тошнило. Никакого очарования, лишь пакостное желание скорее уже очутиться там, куда мы направляемся. Очарование придёт позже. Когда будем гулять с мамой по берегу, слушая шуршание волн. Когда будем смотреть на южное звёздное небо, жёлтую крымскую луну, расцвеченный отблесками и переливами неспящий город с одной стороны и иссиня-чёрное море—с другой. Пляжный песок окажется мягким, прохладным, и ступням будет очень приятно...

Это был ещё не тот возраст, когда начинаешь пренебрежительно относиться к родителям, отстаивать свои права и некую непонятную даже для самого себя независимость. Тогда мир всё ещё оставался прекрасен и спокоен, наполнен ароматами цветов, сладкой ваты и горячей кукурузы. В ушах пульсировала музыка, льющаяся из множества всевозможных ресторанчиков и кафе, а если отрешиться от окутывающей тебя гаммы звуков, прислушаться, то нетрудно уловить и далёкое гудение поездов, мчащихся сквозь шарующий шёпот моря...

Чуть позже, когда я устроился на веранде, краем уха слушая радио в кассетном плеере и предаваясь мечтам,—тогда тоже пришло определённое очарование, понимание некой мистичности всего происходящего. И я старательно гнал тревожное предчувствие, что, возможно, всё это больше никогда не повторится: может, то последний раз, когда я вижу родителей вместе и отдыхаю с ними на море? может, уже завтра всё кардинально изменится? Ведь завтра—оно другое!

И я проникался этим, как некой священной тайной, доступной лишь мне одному. То была уже не вера—всего лишь хрупкая надежда, что перемен не будет, а если и будет, то к лучшему.

А в противоположном углу лежал пойманный накануне днём краб-глубинник, которого я жаждал высушить и покрыть лаком. Сделать какую-нибудь поделку, наподобие тех, что продавали на лотках у пляжей,—рачки, крабы и ракушки, здоровенные лангусты в деревянных рамках, выложенная цветными камушками надпись «Крым» и год...

...Год, когда всё ещё было хорошо.

А ловить крабов оказалось не так уж и сложно. Главное—сразу уяснить, что даже самое махонькое и крайне безобидное на вид ракообразное может цапнуть за палец. Увы, к этой незамысловатой истине я пришёл довольно-таки болезненным путём—когда увидел на каменистом дне Чёрного моря крохотного крабика, который, заняв оборонительную позу (взгляд кверху, клешни угрожающе растопырены в моём направлении), отчаянно пытался удрать.

Упустить его я ну никак не мог!

Вообще, всех черноморских крабов я негласно поделил на две категории: бегуны (лапы длинные, клешни маленькие, тельце квадратное) и драчуны (лапы короткие, правая клешня огромная, левая словно атрофирована, тельце ромбовидной формы). Бегунов ловить было гораздо трудней — они проворно сновали меж камней, то и дело зарывались в песок на дне. С драчунами всё обстояло несколько иначе. Несмотря на то, что по природе своей они крайне медлительны, подобраться к ним толком было нельзя. Краб-драчун, полностью оправдывая своё название, так и норовил вцепиться тебе в руку, а стоило вынырнуть на поверхность за воздухом, как его уже и след бы простыл.

Тем не менее я упорно боролся с этими представителями морской фауны, вытаскивая на берег одного за другим. Покоя же мне не давал тот факт, что всю мою добычу, по существу, составляли мальки. Самый крупный — вместе с лапами — размерами едва достигал детской ладони. А на прилавках всевозможных пляжных лотков красовались поделки с участием огромных ракообразных, тарасившихся на меня залакированными глазами. Местные прозвали таких глубинниками (по сути, те же драчуны, только здоровее в несколько раз), так как водились они преимущественно на глубине.

Меня это, естественно, огорчало. До того момента, пока я не понял, что просто не там ищу.

И вовсе не обязательно, что глубинники непременно торчат на глубине. Эти создания стремились поближе к берегу — что-то там насчёт ионизации воды во время прилива. Они забирались в расщелины меж бетонных плит на пристанях, где с удовольствием пожирали найденную тухлятину, объёдки человеческой пищи и прочее, что получалось отыскать. Сами пристани были недействующие. Народ раскладывал там свои пожитки, загорал, нырял с них в воду. Каждая пристань, по обыкновению, оканчивалась пологим спуском, который частенько зарастал мягкими зелёными водорослями. При относительно небольшой волне можно было улечься на этот спуск, прижавшись спиной к такому вот шелковистому настилу. А между этим так называемым спуском и основным блоком пристани всегда имелся небольшой зазор, блок всего заваленный камнями и всевозможным мусором (на дне я много чего находил — очки, часы, ласты, маски с трубками, деньги и золотые украшения, в основном кольца и цепи). Там и прятались объекты моего охотничьего интереса. И именно там я впервые столкнулся с глубинником.

Море в тот день было неспокойно — волны постепенно распаялись, и видимость под водой быстро сводилась к нулю. Тем не менее я упрямо продолжал обследовать расщелины пристаней.

К тому времени я уже перестал обращать внимание на молодняк, искал добычу покрупней. Так я добрался до спуска, желая немного передохнуть на водорослях, покачаться на волнах... И именно тогда, словно бы приветствуя, ко мне выполз глубинник. Он был здоровый, размером с футбольный мяч (во всяком случае, так мне показалось), и невероятно красивый. Все лапы на месте, клешни не сломаны (изуродованные клешни — довольно частое явление среди крабего народа), тельце же ещё не успело покрыться старческими наростами. В общем, живое олицетворение моей охотничьей мечты. И прямо передо мной, стоит лишь руку протянуть...

...Чего делать как раз таки было нельзя. В памяти отчётливо всплыло самое первое знакомство с крабом — тем самым, о котором упоминалось в начале. То был мелкий драчун — совсем ещё пацан, если так можно выразиться. Спрятаться он не смог, и я попытался ухватить его. Моя ошибка. Краб вцепился мне в палец, и я прямо под водой заголосил от боли. Резко вынырнув на поверхность, чем испугал всех купающихся поблизости, я принялся отчаянно трясти рукой, пытаюсь скинуть распроклятое создание. Не тут-то было. Этот ракообразный садист намертво ухватился за меня и, не иначе как ошалев от притока кислорода, решил и вовсе не отпускать. В конечном счёте мне удалось отодрать краба, лишь засунув его обратно в воду.

И вот передо мной грозно восседал старший брат того наглеца. И обе его клешни ясно говорили о том, что он переломает мне все кости, стоит лишь протянуть руку в его направлении.

Что сказать? Я боролся до конца. Задыхаясь, не обращая внимания на усиливающуюся качку, едва не плача от досады, всячески пытался добратись до этого чудища морских глубин, как-то схватить его, выманить, обмануть, но всё было напрасно. Поиздевавшись надо мной вдоволь, наглец уполз обратно в расщелину, откуда его было уже не достать.

Так, полностью обессиленный, я выбрался на берег и, погрузив ноги в морскую пену, расprostёрся на гальке. Переводя дух, снова и снова прокручивал в памяти схватку с глубинником и с восставшей стихией. Казалось, удача была так близка...

Но вместе с тем постепенно во мне зрело чувство глубокого удовлетворения, даже самодовольства. Верно, я сделал всё, что мог, но лишь теперь азарт по-настоящему ярким пламенем разгорелся у меня в груди: мои поиски оказались не напрасны! Я искал, надеялся и верил, и вот я наконец-то нашёл. Так же, как когда-то — будь то в Завитинске или в Комсомольске, — выискивал плавунцов; так же, как однажды обнаружил красную музыкальную зажигалку в грудке мусора — зажигалку, которую очень мечтал заполучить. Так же, как рано или

поздно находил всё, что жаждал найти,— в этом плане грех жаловаться: Вселенная всегда была добра ко мне, регулярно исполняя мои желания. В общем, часть пути оказалась пройдена, теперь оставалось лишь поднатореть в мастерстве охоты. И я действительно мастерски научился ловить этих крабов— настолько виртуозно, насколько это было возможно.

Не знаю, повстречался ли мне ещё хоть раз тот первый глубинник—этакая охотничья любовь с первого взгляда, столь запавшая мне в душу,— или же нет. Наверное, это уже и не важно. Главное, что я видел его, что на один краткий миг нас связала наша борьба и что теперь мне есть о чём вспомнить.

Конечно, триумф «легендарного охотника на крабов» меркнет в сравнении с другим триумфом, более жизненным, ожидавшим меня в Комсомольске—городе, неожиданно-негаданно ставшем ещё одним символом моего детства.

Правда, поначалу Комсомольск встретил меня лишь гигантскими сугробами, лютым холодом и свирепым ветром. Я вышел во двор и одиноко, словно последний человек на Земле, бродил возле занесённых снегом скамеек и покосившихся качелей, смотрел на пустынные дома с тёмными окнами и на воинскую часть вдвали и грустил, грустил, грустил. «Нет,—понимал я,—это явно не Завитинск. Даже не Ярославль». И в который раз задавался вопросом: как же здесь жить-то? А в перерывах вспоминал своих друзей и привычные места, что пришлось оставить из-за вечных переездов с места на место. Злился. Когда же на ум пришла Надя—и вовсе стало очень печально: мне казалось, что сердце моё разбито, всякий смысл жизни безвозвратно утрачен.

А спустя пару месяцев мне удалось объединить весь двор: самая разношёрстная ребятня, ранее враждовавшая друг с дружкой, ныне сделалась единым целым. И требовалось-то лишь предложить какую-нибудь занимательную игру, чтобы всем она была интересна. Что ж, комсомольские дети с удовольствием играли в московские прятки. И группа из пяти человек за пару недель превратилась в банду из тридцати с лишним мальчишек и девчонок самого разного пошиба. И во главе всего этого безобразия стоял я.

Мои пятнадцать минут славы, растянувшиеся чуть меньше чем на полгода.

Так мы собирались практически каждый день, делили двор на запрещённые и разрешённые территории, скидывались на кулачках и выбирали водящего, а потом—понеслась! Тридцать человек разбегались кто куда: в подъезды, в подвалы, на чердаки... Некоторые просто закапывались в песочнице, другие забирались в ящики из-под картошки (в то время такие стояли почти в каждом

подъезде) и караулили, когда уже водящий пройдёт мимо, дабы мигом позже с диким визгом нестись к заветному месту—«застучаться»: «Туки-туки за себя, туки-туки за себя!»

Водящий сердился, но было ещё много людей, кого следовало найти. Да, московские прятки не оставили нас равнодушными. Игра эта и стала моим триумфом. В противовес тому школьному позору в беге на длинные дистанции, здесь я мог проявить себя с лучшей стороны. Я был быстр, умён, находчив. Я изучил все возможные места для прятков, выдумывал новые, быстрее всех мчался к месту, чтобы «застучаться». Думаю, именно в те месяцы я вновь сделался принцем из старинных сказок.

А однажды, когда на дворе уже вовсю цвела весна и через каких-то две-три недели мне предстояло уезжать обратно в Ярославль, я выглянул в окно и увидел, что все эти мальчишки и девчонки, вся эта банда—моя банда!—покорно топчется у подъезда в ожидании моего появления. Тут же явилась и делегация в составе трёх человек, которые осторожно поинтересовались у мамы, выйду ли я гулять.

Конечно, выйду!

Наспех обувшись, я метнулся вниз по лестнице и встретился с тридцатью парами жаждущих глаз. Требовалось провести определённый ритуал, без которого игра попросту не имела права начаться. Я был Верховным Жрецом, и вся церемония эта возлежала полностью на моих плечах.

И вот я произнёс:

— Кто будет играть в интересную игру, а в какую— не скажу?..

— Что за игра?—спросили ребята хором.

— Московские прятки.

— Не-е, не будем мы в это играть,— всё так же хором ответили они.

Сбитый с толку, я уставился на эти самодовольные физиономии: в чём подвох? И тут до меня дошло. Можно сказать—осенило! Ну конечно, отныне я стал частью этого города и этих людей. Я окончательно сделался своим.

— Кто будет играть в интересную игру,— начал я, улыбаясь,— а в какую— не скажу?..

— Так что за игра-то?— вновь спросили они.

— Комсомольские прятки!— выпалил я, и банда подхватила мои слова восторженными криками.

С того момента я перестал быть приезжим, и мы навсегда отказались от московских прятков. Отныне мы играли исключительно в комсомольские прятки.

Всё чаще думаю о том, что теперь с этими ребятами. Как сильно они изменились, на кого выучились, кем работают, да и... живы ли они вообще?

Наверное, как и все прочие, торчат в социальных сетях, изредка выбираются в город, распивают

пиво с друзьями и подругами, встречаются и расстаются, влюбляются и изменяют, заводят детей... Кто они теперь? Помнят ли ещё те далёкие годы и наши комсомольские прятки? Как мы носились по двору, и взрослые ворчали на нас, требовали, чтобы мы не залезали в подвалы, где всё залито стоялой водой, чтобы были внимательней, осторожней, не хлопали дверями и держались подальше от крыш... Тем не менее уже тогда я понимал, что взрослым нравится эта игра, им нравится, что мы так дружны, что перестали быть одиночками и пропадать не пойми где, что не курим, не пьём, не дерёмся...

Друзья моего далёкого детства — не познавшие ещё вкуса сигареты и первого поцелуя, толком не научившиеся ругаться матом, не разобравшиеся в разрушительной силе денег и прогресса, не успевшие разочароваться в жизни и не летавшие с ужасающими химерами в синтетической нирване, — где вы теперь?

Пару дней назад позвонила. Далеко за полночь. Пришла с каким-то парнем, улыбалась, о чём-то рассказывала.

Уселся втроём на полу, включили музыку, закурили, хлопнули пробкой шампанского. Решили перекинуться в покер. Правил никто толком не знал, посему вышвырнули половину комбинаций, придумали какие-то свои. Набрали мелочи из копилки, делали ставки, временами даже пытались блефовать. Крис Ри сменялся Земфирой, потом «Наутилус», «Високосный год», «Машина времени», избранное из Pink Floyd и Depeche Mode, какая-то западная попса, отечественные исполнители... Я курил, глядя поочерёдно то на неё, то на него. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, тем не менее не упускал случая дотронуться до её колена, приобнять за талию, прошептать какой-нибудь комплимент. Я же тихо подпевал Юрию Шевчуку, смотрел на свои карты и ничего не видел. Проигрывал, проигрывал... Но покер мне всё равно нравился.

Издredка поднимал голову и перехватывал её взгляд. Что-то в нём пугало, что-то зачаровывало — взгляд ещё одной черноокой красавицы в живописном саду далёкого города. Я не понимал её взгляда, а потому смущённо отворачивался, подкидывал больше монеток, не следил за игрой.

— У меня две пары.

— А у меня стрит.

— Хм...

— Кому-то капец, ага?

— Ну-у...

Так на улице медленно занимался рассвет — холодное апрельское утро, и уже совсем скоро она уйдёт. Останется лишь прокуренная комната, в которой даже нельзя будет различить аромата её духов.

Парень шутил, улыбался, всячески пытаясь привлечь её внимание к собственной персоне. Она отзывалась, но неизменно поворачивалась ко мне. Из снова этот оценивающий взгляд. Настоящий калейдоскоп чувств смешался в нём. Тут тебе и некая самоуверенность, и грусть, и злорадство, и доверие, и что-то ещё...

И очень хотелось выпроводить этого напыщенного индюка, её же попросить остаться. Просто знать, что она здесь. Видеть её, разговаривать, что-нибудь обсуждать. Со временем бы табачный дым выветрился, но аромат её духов — её незримое присутствие — сохранился бы. Такова надежда — вещь хрупкая, едва осязаемая и зачастую несбыточная.

Увы, увы... Наступил рассвет, и всё прекратилось. Они оделись и ушли вдвоём. Я лишь помахал рукой на прощание. Вернулся в квартиру, открыл настежь окна и долго ещё смотрел на забытые ею серьги.

Всё это лишь полуночные мысли, а под боком мохнатое тепло, ласковое, словно бы поющее колыбельную, урчание...

Долго не мог понять, почему по квартире вечно разбросаны ватные палочки. Те самые, которыми чистят уши. Вроде бы всегда лежали в пластиковой коробке на верхней полке, сам же я их выбрасывал тут же после использования. И вот на тебе — как ни приду, то на полу одна валяется, то на диване. Причём все чистые.

Ведь не сами же они из коробки выпрыгивают!

Одним утром всё стало ясно. Стоял перед зеркалом и рассматривал собственную невзрачную физиономию, когда на периферии в отражении увидел некое странное движение в районе полки. Осторожно сдвинувшись в сторону, всё так же не отрывая глаз от зеркала, обнаружил Мусю. Каким-то непостижимым образом сей хищный зверь забрался на верхнюю полку (никакой другой мебели рядом нет и не было, и как она сумела вскарабкаться туда, при этом ни издав не малейшего звука, до сих пор непонятно) и осторожно пробрался к заветной коробке с ватными палочками. Привычным движением лапы кошка откинула крышку и, засунув морду внутрь пластиковой коробки, зубами прихватила одну из палочек.

— Муся, — позвал я.

Разбойница вздрогнула и обернулась. Наши глаза встретились в зеркальной альтернативе комнаты. Через мгновение она выплюнула свой трофей и, спрыгнув на пол, с распушённым хвостом стремглав умчалась к окну, откуда нырнула на улицу. Я же так и стоял у зеркала, осмысливая увиденное.

Чем так заинтересовали Мусю ушные палочки, мне было неведомо.

Спустя пару недель правда всё же открылась. На деле всё оказалось до банального просто! Как

и многие, прежде чем воспользоваться «ушной чистилкой», я её хорошенько слюнявил. Так я расхаживал по квартире с такой вот штуковинкой во рту. Естественно, Муся — с её-то врождённым кошачьим любопытством — внимательно за мной наблюдала. И, вероятно, никак не могла взять в толк, чего такого интересного в этом куске пластмассы с ватой на концах. А поскольку на пробу ничего вкусного в ватной палочке не обнаружилось, я же по-прежнему продолжал слюнявить их каждое утро. Муся уверилась, что её попросту дурачат, потому воровала снова и снова, выискивая заветное лакомство. И так до бесконечности. Забавная она всё же.

И теперь мне хотелось бы обратиться к тебе.

Знаешь, чего бы ты ни думала, но она по-прежнему по тебе скучает. И когда ты приходишь — а это случается так редко! — она не хочет идти к тебе вовсе не потому, что забыла или разлюбила, нет. Она не хочет идти, потому что знает: через какое-то время ты уйдёшь, а боль... боль останется.

Кошка тоже умеет чувствовать, и ей тоже бывает грустно.

К вопросу о грустном: вот вам ещё один эпизод из повести, что никогда не будет написана.

Игоря бросила жена. Он вернулся из очередной командировки и обнаружил оставленное ею письмо. По этому поводу напился. Игорь вообще много пил, а потом становился буйным, кричал, хвалился своим званием капитана, расхаживал по коридору в одних трусах, вечно плевался, вставал во все разговоры. Тощий, небольшого роста, с лицом, сморщенным, словно гнилой помидор, и заплавленными глазами, в которых поблёскивала грусть. Мы же открыто над ним потешались: Игорь не представлял какой-либо серьёзной угрозы, всякий его мог обидеть или унижить. Он багровел от злости, брызгал слюной, матерился. Мы же хохотали ещё громче. Если и доходило до драки, то уже через пару секунд Игорь оказывался на полу, прикрывал голову руками и жалобно подвывал...

И вот он сидел за столом и гневно ругался. — Да пошла она... падаль эта подзаборная! — кричал он, а мы разливали дешёвую водку по стаканам, жевали вымазанные кетчупом и майонезом пельмени, курили. — Я эту шалаву... рот ей порвать... в гробу видал! Ух, мразь неверная! Бросить она меня, видите ли, решила... Пока я тут службу несусь, она там шляется со всякими! Богатенького себе нашла... Любит его... Так и написала, представляете? А я, мол, пропойца и не-бла-го-на-дё-жен... — последнее он с трудом произнёс по слогам, смугился, вновь закричал: — Я капитан, мля, вс рф! Этим, сука, гордиться надо! А шмара на деньги повелась... У-у, тварь галимая!

— Лан, заткнись, — одёргивали его. — Достал уже.

— Да чёрта с два! — хорохорился Игорь, сглатывая при виде наполнявшегося стакана. — Поеду и убью её, потаскуху эту!

— Хорош!

— Сука... на бабло мужа сменяла... Нет-нет, вот увидите — завтра же у командира отгул по семейным выпрошу! Убивать её поеду. Да, точно...

Мы же заговорщически переглядывались, ехидно улыбались и произносили напыщенные тосты за верных жён, за наших подруг-красавиц, за прекрасный женский пол в целом. Игорь пил вместе с нами. Чернее тучи, стряхивал пепел прямо на стол. Бессмысленный взгляд его воспалённых глаз плавал по нашим лицам, искал в них понимания, возможно, сочувствия.

— Я этим письмом жопу подтёр, — хлопал он по столу. — Чтоб гнида не зазнавалась... Падаль! Бросила она меня. Не-е, ничего подобного! Это я её послал, слышите, а?!

— Да-да, заглохни только, — отмахивались мы, и Игорь отворачивался с видом оскорблённого достоинства.

А позже ночью, слегка пошатываясь, я выбирался в коридор покурить и видел, как у комнаты Игоря кто-то топчет, тихо посмеивается.

— Ты здесь чего забыл?

— Да слушаю вот, как Игорёшка наш хнычет.

Тогда я прислонялся к двери, прислушивался. И правда — по ту сторону хлипкой фанеры, где-то в бездонно-пугающей глубине махонькой комнатухи, надрывно плакал Игорь. До меня доносились трудноразличимые слова — какие-то молитвы, перемешанные с вопросами «почему?», «зачем?», «ну как же так?», — и я усмехался. Так же, как усмехался тот, кто стоял рядом. Игорь оплакивал свою рухнувшую семью, свои надежды, свою любовь, а мы находились в коридоре, слушали это и потешались. Над чем? Над тем, что свято верили, будто у нас никогда не будет такой жизни, будто сумеем избежать всего этого? Возможно. Всё возможно. Но... как знать — не было ли это нашей общей иллюзией?

Таков ещё один эпизод ненаписанной повести о службе в Калуге. Такова ещё одна судьба, растворившаяся в тысячелетиях одиночества...

«Здравствуй и прощай! — именно так мне хотелось бы написать тебе и поставить большущий крест на прошлом. Не читай дальше, тебе всё равно не понравится. Продолжаешь читать? Учти, я предупреждала. Наверное, мне пора переходить на личности. Кстати, ты до сих пор мой. Точнее, „моё“. Именно моё огромное разочарование в жизни! На самом деле ты лучше распечатай это сообщение в двух экземплярах и один сожри, а второй засунь себе в задницу. Просто так — для профилактики от запора. Я вот анализирую наше

„общение“ под любым углом и всё время прихожу к мысли, что ты—ничтожество. Я сегодня буду с тобой ласковой. И не потому, что так хочу. Я просто не злюсь. Если ты думаешь, что я сейчас плачу, жую сопли и типа пишу тебе это сообщение, чтобы разжалобить,—ты ошибся. Я даже пожелала бы тебе счастья, любви, удачи, но ты же не заслуживаешь, да и вдруг ещё сбудется? Хотя нет! Я желаю тебе любви! С активным мужиком, у которого огромный член. Или нет, на самом деле это остатки вымотанных тобой нервов сейчас попискивают. Если задуматься, мне по барабану, что с тобой будет. Бог нас рассудит. Ты мне устроил ад на земле, Он тебя засунет в ад под землёй. По нему советую тебе начинать каяться. Ну и, конечно, спасибо тебе за то, что ты сделал, ведь даже плохие люди делают много хорошего. Например, они подают пример, как делать не нужно. Если ты думаешь, что ты меня сломал,—ты ошибаешься. Все твои насмешки и унижения просто закалили меня. Искренний смех вызывают твои действия, если смотреть на них со стороны. Я стала мудрее и умнее. Хороший опыт, который мне в дальнейшем пригодится. Я всё равно ещё полюблю. И полюблю порядочного, искреннего и, в конце концов, настоящего мужчину, а не особь мужского пола. Ведь у тебя от мужчины один член, и всё. Ах, ну да, ты ещё физически сильнее. В принципе, как и любая другая рогатая скотина.

Ты всё ещё читаешь? У тебя от напряжения мышцы на жопе сейчас дрожат, наверное. Девушки часто пишут парням в прощальном письме: „Я счастлива!“—для того, чтобы уколоть. Так вот, я счастлива! Только мне пофиг, как ты на это будешь реагировать. Я тебе даже один смайлик пришлю. Видишь, я улыбаюсь. А в реальности я улыбаюсь намного шире.

Да, и постарайся почаще мне делать всякие гадости! Это служит своеобразным катализатором, заставляет меня двигаться вперёд, приводит в тонус. Ой, чуть не забыла. О великий и всемогущий гений нашего времени, слёзно молю тебя, о владыка пера, напиши про меня обязательно рассказ—хоть единственный стоящий образ среди всех твоих „героинь“. Я даже выделю время, чтобы его прочесть.

Да, кстати, оставь ключи от моего рая на столике в прихожей и вали в свой мир лжи, лицемерия и бездарных фантазмагорий. Да-да, именно туда, откуда ты вылез».

.....

Я помню, как сидел за столом, курил, вновь и вновь перечитывая этот внезапно обрушившийся на мою голову текст—это воплощённое крушение чьей-то надежды, этот полный отчаяния вопль,—присланный мне, как и заведено, во «ВКонтакте». Своеобразный привет из прошлого, эпистолярный

выплеск эмоций. Кто-то, кого я обидел, кого предал или отверг...

Зачем я так поступил? Уже не знаю, а может, знаю очень хорошо, но это попросту не имеет значения. Главное, что теперь этот текст—это письмо, это обличающее послание—лишь ещё одна тень былого. Ничего более.

Но скольких людей мы топчем, шагая по жизни? А сколькие топчут нас? И самое главное: почему мне так хочется смеяться? Ведь на душе совсем не весело...

Меня тревожат эти мысли, и с них я пытаюсь переключиться на что-то более приятное—очередное воспоминание, не столько грустное, сколько чарующее...

В Комсомольске единственная ближайшая к нашему военному городку школа располагалась примерно в тридцати километрах. В деревне, отдалённой от нас огромным полем.

Каждое утро в указанном месте собирались дети военных и ждали так называемый «школьный автобус»—по сути, КАМАЗ на крупных колёсах и с кузовом для пассажирских перевозок. Мы забирались внутрь, рассаживались по местам, и водила—какой-то там прапорщик—вёз нас к месту учёбы. После уроков он же нас и забирал. И так было всегда.

Дорога шла в окружную сквозь густой лес, и мы либо бесились, стараясь не обращать внимания на ворчание взрослых (парочка не слишком грозных учителей, что жили в городке и по утрам ездили вместе с нами), либо же тупо смотрели в окна на бесчисленные сугробы и понатыканные там-сям чёрные стволы деревьев. Первая поездка ещё более-менее запомнилась—она казалась столь необычной после скучного Ярославля с его пешими прогулками. Ну только представьте себе: добираться до школы на грузовике! И так каждый Божий день! Тем не менее к этой маленькой особенности я быстро привык, и все последующие поездки проходили как в тумане—ныне мало что о них помню.

Но однажды «школьный автобус» за нами не приехал.

Мы собрались у крыльца (все деревенские уже разбрелись по домам), жались друг к другу, испуганно тарасчились на разыгравшуюся пургу и вздрагивали, когда начинала угрожающе завывать метель. Учителя нервничали, то и дело бросая тревожные взгляды в нашу сторону. Сотовой связи в то время ещё не существовало, поэтому точно узнать причину задержки не представлялось возможным. Жители же ближайших домов телефонов не имели. А между тем на нас надвигались угрюмые сумерки. Того и гляди делается ещё холодней.

В общем, на свой страх и риск учителя решили вести нас пешком. Если идти через поле, то расстояние сокращалось приблизительно вдвое.

С другой стороны, в лесу не было такого ветра и метели. Решающую роль сыграл тот факт, что через поле были проложены трубы, по которым переносилась горячая вода (здесь могу и ошибаться, но точно помню, что трубы были тёплыми и от них валил густой пар).

Маленькое путешествие длиною в жизнь.

Было чертовски холодно, мы держались как можно ближе к трубам, а учителя регулярно нас пересчитывали. К тому времени, когда мы добрались до середины поля, стало уже совсем темно. Снег хрустел под подошвами ботинок, было трудно идти, а пальцы на руках и ногах давно уже онемели. Вдали тёмным силуэтом в снежном мареве всплывал наш городок. Деревни за спиной уже не было видно. Один только снег. Снег повсюду. Никто ничего не говорил, все молчали, плотнее кутались в свои куртки, растерянно и устало глядели себе под ноги. Лишь учителя изредка кидали взволнованные взгляды в сторону леса: не едет ли там заветный КАМАЗ? Но лес давно уже превратился в непрístupную чёрную стену из страшного сна. Даже если бы грузовик и проехал, мы бы вряд ли его увидели. Он бы нас тем более не заметил.

Во вьюге же слышались голоса. Кто-то маняще о чём-то пел — о чём-то полужабытом, неулловимо знакомом...

Нас постоянно подгоняли, заставляя двигаться быстрее. Мы злились. Но теперь я понимаю, что то было правильное решение: нельзя было допустить, чтобы мы долго оставались на одном месте. А ведь ещё сказывалась усталость! Трубы же подкупали своим теплом — хотелось забраться под них, отдохнуть, возможно, даже вздремнуть немного...

На самой середине поля располагался домишко. То была махонькая конура смотрителя (здесь я тоже могу ошибаться, память частично подводит меня в мелочах). Дед, который жил в той избушке, долго и удивлённо разглядывал нас, когда мы всей ватагой набились в его жилище, а раскрасневшиеся с мороза учителя, запыхавшись, принялись что-то ему втолковывать. Где-то на середине их спутанного рассказа он взмахнул руками.

— Полноте, — ласково пробормотал дед. — Лучше чайку попьём.

Телефон у него имелся, да вот толку от этого аппарата уже никакого не было. Ни одна машина не доберётся по полю до домика смотрителя. Лучшее, что можно было сделать, так позвонить в городок и предупредить, что, дескать, вот — мы идём, встречайте.

Комнатушка у смотрителя оказалась совсем маленькой (мы все с трудом в ней уместились), но тёплой. Несколько раз деду пришлось греть чайник, так как воды на всех не хватало. А чуть позже он даже ухитрился раздобыть где-то пакет со сладостями и угостил каждого из нас шоколадной конфетой.

К тому времени, когда решено было выдвигаться дальше (до момента, как развернется непроглядная зимняя ночь, ничего хорошего нам не предвещавшая), добрая половина из нас уже пригрелась и задремала. Возвращаться в лютый холод совсем не хотелось. Нас будили, пересчитывали. Мы же неторопливо одевались, зевали, раздражённо натягивали сырую обувь и мечтали скорее уже нырнуть в свои тёплые кровати. Тайно надеялись, что все учебные задания в этот день нам прощены и можно будет спокойно поваляться перед телевизором.

С такими мыслями мы и двинулись в путь сквозь ревуший буран...

Много позже, дома, когда меня всё-таки отправили делать уроки, сидя над учебником русского языка и глядя на записи в тетрадке («Домашняя работа. Упр. №37»), я вспоминал те самые голоса, услышанные в метели.

Это была мамина колыбельная — песенка, которую она пела когда-то давным-давно:

Шагай вперёд, мой караван.
Огни мерцают сквозь туман.
Шагай без отдыха, без сна
Туда, где ждёт тебя весна...

Порой я всё ещё слышу, как у кого-нибудь в наушниках играет «Наутилус». Бутусов вздыхает из прошлого:

Руки Полины — как забытая песня под любовной иглой. Звуки ленивы и кружат, как пылинки, над её головой. Сонные глаза ждут того, кто войдёт и зажжёт их свет. Утро Полины продолжается сто миллиардов лет.

И все эти годы я слышу, как колышется грудь.

И от её дыханья в окна запотело стекло.

И мне не жалко того, что так бесконечен мой путь.

В её хрустальной спальне постоянно, постоянно светло.

Вот она — одна из тех песен, что тесно переплелись с целым поколением. С моим поколением. Но когда-нибудь эти песни исчезнут, как исчезло уже многое. И вполне может быть, что мы отправимся следом. Ещё лучше — если вместе с ними. Пешком, сквозь разыгравшуюся метель, под звуки маминной колыбельной. Или же на самолёте, в грозу, с чувством тошноты и ослепительными вспышками молний снаружи. А может, и на поезде. Мимо ночного Благовещенска. Навстречу Комсомольску и Завитинску, много-много дальше — навстречу океану и всем тем воспоминаниям; навстречу вертолёту за домом и друзьям, которых уже никогда не увидим...

Пару месяцев назад заехал ко мне один друг. Поздней ночью, когда улицы заметало снегом, позвонил. Я оделся, вышел к нему, уселся в его недавно купленную BMW.

— Ну, привет.

— Салют! Как жизнь-то у тебя?

— Да всё так же...

В общем, поболтали, покурили, я выпил две бутылки пива, он — банку колы (за рулём как-никак), затем решили просто покататься по городу. Он что-то мне рассказывал о своей нынешней любви, о том, как всё хорошо и замечательно, как он уверен и прочее. Я же молча смотрел в окно на ночной зимний город, который в корне отличался от Благовещенска. Весь какой-то маленький, приземистый. Никакого величия, никакого волшебства.

— Сверни тут направо, — попросил я на одной из улиц.

— Да не вопрос.

В результате мы оказались у тёмного пустынного перекрёстка, в окружении серых бетонных коробок с чёрными прямоугольниками окон.

— Минутку дай мне.

Я выбрался из машины и побрёл к ближайшей девятиэтажке, что уже не единожды мне снилась и будет сниться ещё не раз.

Так очутился в пустынном дворе, которого совершенно не узнавал. Всё исчезло — и беседка, и горка, и качели... Даже лавочки, на которых мы некогда играли в «топорики» и «бутылочку», — и те зачем-то повдёргивали. Старый дуб по-прежнему ветвился, но вот былого азарта при виде его я не испытывал. Дерево обернулось мрачной фигурой из детских кошмаров — чем-то грозным, встающим из темноты, дабы проглотить меня. А когда-то мы карабкались по нему, сидели на самой верхушке и удивлённо смотрели на мир... Ещё мы вырезали свои имена на стволе, обменивались заверениями вечной дружбы.

И наши имена, наверное, до сих пор там сохранились...

Тогда я закурил, поморщился от горького привкуса во рту. Понял вдруг, что это место больше не мой дом. И этот двор никогда не был моим двором. Мой двор был другим. А это... пустырь.

Так где же, чёрт возьми, мой дом?

Развернулся и пошёл обратно к машине.

— Ну, чего там?

— Ничего. Абсолютная пустота, — вздохнул я, забираясь в тёплый салон.

Спустя пару кварталов указал на жёлтую «немецкую» двухэтажку:

— В этом доме когда-то жила моя первая любовь.

— Занятно, — без особого интереса кивнул друг, больше глядя на дорогу, чем на заброшенное здание.

— И звали её... Надежда.

Конечно же, я влюблялся ещё не раз. И в большинстве своём то была безответная любовь — она дурманила меня, волновала душу, рисовала странные образы во снах. Я рвался о чём-то рассказать тем

черноокиим девушкам, а впоследствии и женщинам, которых любил. Или думал, что люблю. Как ни крути, а мне хотелось, чтобы они увидели мой внутренний мир, прочувствовали, осознали... Конечно же, я ничего такого не сделал. Я стеснялся, догадываясь, что во мне нет ничего интересного, мне нечем похвастаться, нечем завлечь, а порой и нечего рассказать. Такова природа всякой сказки и в корне отличающейся от неё реальности. В сказке принц спасает принцессу от дракона, они любят друг друга, и на этом повествование заканчивается. А что ждёт их дальше, какова суть их любви и что они делают, когда нет больше драконов и испытаний, нас не касается. Здесь-то и начинается реальность — то неумолимое стечение обстоятельств, ведущее к одному-единственному итогу, который я пытался отобразить в рассказах «Фонтан» и «Я люблю тебя!».

Данный текст отчасти близок «Экспрессии», он посвящён Натали. Как и прочие, в какой-то период нашего с ней знакомства Натали убедила себя, что я повсеместно её обманываю. Она была такой не первой и, подозреваю, отнюдь не последней. Её раздражала моя ложь, она хотела правды — простой, незамысловатой, понятной и привычной. И, как бы я ни старался, я не мог дать ей этого. Ведь на самом деле я никогда ей не врал. Нет, всё, о чём я ей говорил, — было правдой. Для меня. Мои мечты и фантазии, всевозможные выдумки и прочее — во всё это я верил. Только эта сказочность и оставалась для меня реальной.

Увы, подобное редко устраивает других людей.

И всё-таки я упорно продолжаю свои монологи, рисую картины в воображении, наделяю их скрытыми смыслами и тщетно пытаюсь донести до той, к кому они обращены. Так я посвящал женщинам рассказы, дарил им сновидения. Романтик? Нет, лишь очередной дурак-фантазёр.

Но можно ли стать другим? Стоит ли?

— Знаешь, — обращался я к Марианне, которая живёт в далёкой Одессе (ещё один прекрасный город из колыбельной) и, конечно же, не знает, — мне ни разу не доводилось гулять по воде. Буквально это, естественно, невозможно, но если и существовал когда-то такой человек, как Иисус Христос, то подобный трюк он сумел повернуть не потому, что приходился сыном некоему божеству — вовсе нет! Просто у него было богатое воображение...

И дальше причудливым калейдоскопом кружит сновидение, что я так рвался ей подарить...

...Далеко за полночь, но по каким-то причинам сон не идёт ко мне; он словно капризная любовница или неверная жена — где угодно, только не в моих объятиях. Выпив чаю и выкурив сигарету, одеваюсь и выхожу на улицу. У ночи много преимуществ перед днём. Главным из них, пожалуй, является отсутствие людей, а ещё некий мистицизм

тишины и мрака, чего-то сюрреалистического, скрывающегося в тёмных подворотнях и размазанных по земле пятнах света от окон и фонарей. А в небе кружит-блестит снег. Конеч марта, а у нас вот снег—своеобразный подарок зимы, так не желающей отступать, но уже признающей, что время её прошло. Об этом говорит всё: и похотливые крики котов, и неугомонное чириканье птиц, и звуки капли за окнами поутру, и дыхание ветра, и, возможно, настроения, витающие в толпе. Серость уползает с лиц прохожих: они и сами не понимают, как начинают улыбаться, насвистывать что-то, грезить о морском прибое, песчаных пляжах, матовых листьях пальм...

Перехожу пустынную дорогу и гляжу на реку. Вода ещё сокрыта под слоем льда, но в глубине уже явно ощущается некое движение жизни—там разворачивается таинство пробуждения от зимней спячки. Я же спускаюсь к берегу и шагаю по хрустящему льду, а потом и вовсе—по самой воде! Она темна и бурлит у меня под ногами, а в небе всё тот же снег... где-то за облаками—большущая Луна, скользящая по своей орбите... Я думаю о далёком космосе с неразгаданными и непознанными звёздами, думаю о дыханиях бесконечности—этой многовековой неизвестности, сокрытой от рода людского. Своеобразная улыбка бытия сквозит вихри времени, не иначе. Материнская улыбка из глубин мироздания.

Теперь уже другого берега нет—он исчез, растворился в молочной пелене тумана; отныне есть лишь порхание снежинок да течение воды. Оборачиваюсь, но позади пустота—там тоже всё исчезло, уплыло на крыльях сновидений, подчинённых самим себе. Никаких физических законов! Всё самое невероятное возможно—стоит лишь поверить!

Вдыхаю ночной воздух и наслаждаюсь тишиной. Но стоять долго посреди холодного океана тоже нельзя, нужно двигаться дальше. Времени и так отпущено всего ничего, а ведь ещё предстоит постичь этот прекрасный, пусть и иллюзорный, мир. Хотя, с другой стороны... стоит ведь захотеть, и время здесь изменит своё движение: минуты растянутся в столетия, пока ты будешь путешествовать по бескрайним землям своего не обузданного сознанием воображения. Здесь даже можно прожить целую жизнь, успеть состариться... Главное—верить!

Смотрю на город—архаичный образ далёкого детства—россыпь огней, подчинённых определённой структуре, вспыхивающих и гаснущих во тьме. Огни эти движутся. Совсем как Вселенная, с той лишь разницей, что нам до сих пор непонятна структура звёздных скоплений, и потому мы наивно зовём их хаотично расположенными... Что сказать, город прекрасен! Он—отражение мечты, чего-то таинственного, сошедшего с давно позабытых фотографий, отпечатавшихся в памяти

и ждущих своего часа, чтобы проявиться перед мысленным взором с неистовой силой.

Снега больше нет, и вода под ногами теперь не такая уж и холодная, хотя менее тёмной она не стала. Но... что же это?

Я попал в лето!

Вижу укутанный тенями пляж. На песке одиноким маяком полыхает костёр, вокруг которого жмутся парочки. Они обнимаются, о чём-то переговариваются, и голоса их напоминают урчание довольной кошки—чёрной и пушистой, лежащей у тебя на коленях, когда ты погружён в интересную книгу, и пускающей когти. Чувствуешь колкие коготки сквозь одежду, но стонать мохнатый тёплый комок не торопишься: пусть ещё полежит, погреет—вся такая мягкая, издающая столь приятные уху звуки. Совсем как прикосновение ветра. Совсем как мечты, уснувшие на крыльях ночных мотыльков или же отражающих дневной свет бабочек. Они—словно упущенное время, с которым улетают наши идеи и возможности...

Выхожу на пляж и скидываю тяжёлые зимние ботинки, снимаю носки и закатываю штанины—так приятно касаться голыми ступнями прохладного песка. Есть в этом что-то такое—очаровательное, прямым из детства, из того времени, когда всё ещё было хорошо... Затем снимаю пальто и свитер. Становлюсь совсем своим в этом новом мире. Просто парень в футболке и джинсах, босиком ступающий по ночному пляжу никому не известного города, любующийся видом на огромный навесной мост—тот самый, усеянный тысячами огней, движимых и неподвижных...

Миг—и я среди этой молодёжи, наблюдаю за игрой огня, слушаю их бормотание, смешки, ласковые глупости, что они шепчут друг другу. Прекрасная пора юности, когда столько надежд и такие радужные взгляды в будущее: ни тебе сожалений, ни того горького осознания, что время уходит—мотыльки улетают,—а ты так ничего и не сделал.

По кругу гуляет бутылка спиртного, завёрнутая в бумажный пакет. Делаю пару глотков: ничего вкуснее я ещё не пробовал! Да-а, это не то дешёвое пойло, что мы насильно вливали в себя в Калуге, когда старались как можно быстрее дойти до состояния полного отупения, чтобы позже забыть беспокойным сном... В этом мире всё иначе. И блики света от костра играют в глазах моих новых друзей, которые рассказывают о чём-то забавном. Я смеюсь, пытаюсь шутить в ответ, а над городом сияет большая—слишком даже, чтобы это оказалось правдой,—луна. Мерцают огни. Это самый совершенный мир из всех возможных, созданных мечтой и сновидениями. И этим миром не нужно управлять, им нужно наслаждаться. Предела нет, есть лишь воображение, фантазия.

А потом я вижу, как откуда-то со склона спускаешься ты. Тебе определённо здесь нравится, и глаза твои — те самые, цвета осени и детства, искрящейся надежды и смеха, ощущения счастья, — улыбаются. Да, ты умеешь улыбаться одними только глазами, большего и не требуется. Смотрю на тебя, а на ум невольно приходят строчки из Сергея Говорухина: *«В её глазах орбиты Галактики... В них заглядываешь, как в бездну губительную, — понимаешь, что разобьёшься, и делаешь всё же последний шаг. В них — мироздание»*. Быть может, он тоже был знаком с тобой?

— Идём, — говоришь ты. — Покажи мне этот мир.

Я киваю, передаю бутылку дальше по кругу, последний раз смотрю на ночной костёр — как же он прекрасен! Затем поднимаюсь и шагаю следом за тобой. При каждом касании ступнями прохладного песка по всему телу разливается некое блаженное умиротворение — я вновь невольно вспоминаю Крым, маму, наши с ней разговоры обо всём на свете... Как же давно я не гулял босиком по пляжу! Теперь, оглядываясь назад — на всё то, что видел и сделал, — я начинаю сомневаться, что это был я. Не было меня там, в моём прошлом. Не я пил коньяк с друзьями на ночном побережье; не я шагал по пристани, слушая ласковые голоса волн; не я восхищался усыпанным яркими звёздами южным небом, и не я ждал пиратов, вглядываясь в бесконечную даль океана... Нет, то был кто-то другой, а я лишь смотрел это в кино, читал об этом в книгах или же вовсе слушал суховатый пересказ этих историй человеческого благополучия...

Автомобиль стоит на пустынной дороге. Как и планировал — это кабриолет. Пусть и избито, но этим миром лучше любоваться не через окна. Нужно видеть всё вживую, вдыхать ароматы, слышать мелодии.

И вот мы везжаем в самые недра этого города. Города, в котором я никогда не был, очень хочу побывать, но, возможно, так никогда и не окажусь. Всё потому, что мои мотыльки улетают, а я по-прежнему живу мечтами...

Ты же смотришь на знакомые улицы, о которых читала, фотографиями которых восторгалась. Верно, это тот самый город, что снится тебе, и сейчас именно ты воссоздаёшь его. Теперь уже действует твоё воображение в этом краю моих снов. — Ведь это же...

Да, где-то там живут твои альтер эго: девушки с именами, начинающимися на одну и ту же букву. Они спят или гуляют, влюбляются и пытаются жить, абстрагировавшись от сюжета и страниц, строчек и фантазий. Они даже и не подозревают, что нынешней ночью ты едешь по дорогам их реальности. Пусть это будет моим маленьким подарком, хорошо? Все эти залитые ярким светом величественные башни из стекла и бетона, уютные ресторанчики с труднопроизносимыми

названиями, сонные в дымке холмы, по которым стелются широкополосные трассы, и аккуратные домишки. И эти декоративные деревья по обочинам тротуаров, и эти живописные парки... Есть ещё порт с часовойней; яхты и шхуны, одиноко покачивающиеся на волнах. А за городом — по железным дорогам спешат поезда; люди в них дремлют либо же листают газеты. Они совсем как настоящие, эти люди. Иллюзия, которая превзошла собой реальность. И ты создаёшь её в данный момент, представляя, как всё это выглядит на самом деле. Я лишь предложил тебе путешествие.

Конечно же, мы отправимся и на знаменитый мост, с которого можно увидеть легендарную тюрьму, ныне превращённую в музей. Под нами — тёмные воды залива. Того самого, что так часто демонстрируют в кино зарубежные режиссёры и описывают в своих романах восторженные писатели. — А что там? — спрашиваешь ты, указывая далеко на запад, где клубится чёрное грозное облако и сверкают молнии.

Там живёт моё зло. Но ты не пугайся, оно совсем безобидное. Просто у каждого человека есть зло. Моё вот живёт там. Мирно так живёт, рождённое и взращённое на впечатлениях от старых ужасников с гнусавым переводом, благодаря которым я и начал писать. Отчасти то просто край, выстроенный как дань утраченной детской непредвзятости. Там вампиры попивают чай, листая «Рождественскую песнь в прозе» Диккенса. Там оборотни вычёсывают блох, в самой чаще леса скрываясь от злобных охотников с факелами, вилами и серебряными пулями. Там озьябшие, никому не нужные зомби на пару с волками жалобно воют на луну. Там заборный скелет с голосом Джона Кассира рассказывает страшилки, запершись в подвале заброшенного особняка. Если захочешь, сама всё увидишь. Они совсем не страшные — мои маленькие бабайки, мои вымышленные друзья. Странно это, наверное... Не знаю.

А впереди нас ждёт широкая полоса дороги, ведущая вдоль омываемого пенистыми волнами обрыва. И ехать так можно долго-долго, разговаривая обо всём на свете либо же слушая блаженную тишину ночи и урчание двигателя. А небо вплоть до самого горизонта окутано переливающимися звёздным покрывалом. Там туманности и целые системы, далёкие-далёкие планеты... Как и всякому мечтателю, мне всегда хотелось узнать: что же скрыто по ту сторону доступного человеку? Что в этих мирах? Может, девственно чистые пляжи и морская гладь, странные создания, скрывающиеся в тёмных глубинах? Разросшиеся джунгли, щебет невиданных птиц, прикосновение лучей незнакомого, но вполне радушного к тебе солнца? Всякое может быть...

Я останавливаю машину поперёк дороги. Но это не опасно — кроме нас, здесь больше никого нет.

По крайней мере, в данный момент. Выбираю из кабриолета и, босиком ступая по прохладному асфальту, гляжу на безмятежность пейзажа. Один такой вид стоит того, чтобы жить. В этом, наверное, и кроется удивительное многообразие жизни. Бесконечность вариантов, помноженная на бесконечность нашего восприятия,—и как смеём мы говорить, что жизнь скучна?

Ты выходишь следом, встаёшь рядом... Думаю, тебе тоже нравится этот вид, и оба мы понимаем, что в реальности всё во много раз краше,— значит, есть к чему стремиться! Мотыльки улетают, унося на своих крыльях спящие мечты. Но ведь это ещё не конец. Всегда будут новые мотыльки и бабочки, главное—не растерять их полностью, не сидеть на месте, наблюдая за их порханием. Главное—не тратить время впустую!
— Спасибо,— может быть, скажешь ты.— Это был красивый мир, мне понравилось.

Я почувствую прикосновение твоей руки. Дружеское пожатие, которое определяет очень многое в этой жизни.

А ведь правда состоит в том, что одной мартовской ночью я сотворил тебя, а ты, в свою очередь, весь этот мир. И кто кого тогда должен благодарить?

Но прежде, чем всё закончится и мы вернёмся в снежную весну моей жизни, прошу, выслушай меня. Есть ещё одна вещь, о которой я долгое время не решался тебе рассказать. Я сомневался, но теперь убеждён: ты—это настоящая она, та таинственная девушка из колыбельной. Её я повстречал лишь однажды, блуждая по лабиринтам своих беспокойных сновидений. Я боялся, что она вымысел и что я никогда её не найду. Так со временем я разуверился в её существовании, сдался. А потом встретил тебя. И теперь я точно знаю, что увидел тебя гораздо раньше, нежели впервые осмелился заговорить с тобой. Это ты приснилась мне тогда. Тебя я искал, блуждая по сумеречным барханам, оазисам, вглядываясь в миражи на горизонте и слепо веря, что где-то есть сказочный город, в одном из садов которого ждёшь ты. И вот наконец-то поиски мои увенчались успехом. Я знаю, что тот сон был чем-то большим, нежели просто картинкой из подсознания. Не только грёза, но целое видение, настоящее пророчество, которое сбылось.

Да, такое порой случается. По крайней мере, мне очень хочется в это верить... И я верю, ведь у меня есть ты.
— Спасибо,— говорю я.

И ты прижимаешься ко мне. Я ощущаю тепло твоего тела и... слышу довольное кошачье урчание. Кошка...

Кошка?

Просыпаюсь, и... большие янтарные—осенние—глаза внимательно наблюдают за мной. Муса

лежит у меня на груди и громко мурлычет. Поговаривают, что эти таинственные существа умеют воровать сны и даже души. Но в этот раз Муса не стала красть мой сон, вместо этого она подарила его мне. Подарила яркие краски и насыщенные образы; подарила живое олицетворение мечты.

И мне лишь остаётся задаться вопросом: кто же попросил её это сделать?

Сколь прекрасны порой бывают сновидения, столь же восхитительно и возвращение домой!

Хотя—нет. Восхитительна сама дорога. Так я забрал документы в Калуге, провёл ритуальное сожжение военной формы (больше никакой «парадной» одежды, отныне только «гуляночная»), пожал всем руки и рано утром сел в поезд до Москвы. С одной лишь сумкой на плече. Ехал, глядя на унылые пейзажи за окном, порой наблюдая за спящими пассажирами, пытался читать, но мысли мои скакали, словно блохи, и никак не удавалось сконцентрироваться. А сквозь тяжёлые облака то и дело проглядывало июльское солнце. И вовсе не хотелось, чтобы оно лезло в душу этим днём. Пускай уж лучше будут тучи и дождь. Почему-то в дождь гораздо приятней возвращаться куда-либо; дождь—это пусть и слегка драматичные, но чертовски правильные декорации. А солнце всегда всё портит.

Москва же встретила меня суетой и удушливым запахом пота, разившим из крытых ларьков, где готовили шаурму, неказистую пиццу и страшно-ватые на вид хот-доги. А ещё—гудением поездов. Не хотелось уходить с вокзала, пусть Киевский вокзал мне никогда особо и не нравился. В душе занозой засело странное желание почувствовать этот день, обнаружить и тщательно запомнить все отличия от дней минувших, пронизанных страницами не написанной мною рукописи о временах одиночества. В общем, сердце требовало чего-то иного, какого-то подтверждения, что всё теперь иначе. Всё изменилось. Я свободен, ведь так?

Но нет, ничего такого не было. Москва такая же, как и всегда. Люди такие же, как и всегда. Поезда, поезда...

Телефон всё так же утрюмо молчал. И, в принципе, только теперь я с горечью понял, что никто меня дома не ждёт. Нет там никому дела до такого события в моей жизни, как прощание с армией и возвращение домой.

Да и дома теперь уже не было. Армия осталась, а я ушёл и тысячелетия одиночества забрал с собой.

И вот чего только не встретишь в метро! Воистину, это уникальное место, где можно натолкнуться на вещи, одно упоминание о которых уже способно вызвать немало толков и споров. Место, где волей случая собирается большое количество людей, уже само по себе необычно. Оно хранит

разные воспоминания — порой забавные, а иногда не очень.

Невольным свидетелем одного из таких событий я и стал, когда возвращался домой, добираться от станции метро «Киевская» до станции «Комсомольская». Естественно, забитое до отказа, пропитанное удушливым запахом пота метро не вызывало у меня положительных эмоций. В отличие от жителей столицы, которые скрашивают свои поездки чтением книги или прослушиванием музыки, у меня не имелось ни того, ни другого, и всё свободное время я попросту наблюдал за людьми.

По обыкновению, там, где много народу, случаются и разнообразные казусы. Возьмём, к примеру, тот факт, что для некоторых метро служит не только средством передвижения, но и ночлежкой, а потому нередки случаи, когда прокрававшийся в подземку бродяга устраивался поудобнее в углу вагона и засыпал. Конечно, частенько его сон нарушал патруль. Обычно подвыпивших бродяг бесцеремонно выволакивали на ближайшей станции, так как спросонья они не сразу понимали, где именно находятся и что вообще происходит, а слушать уговоры мужчин в форме, естественно, не желали. В те же редкие минуты покоя, когда никто их не трогал, они мирно посапывали, принимая зачастую наизабавнейшие позы.

Люди из «цивилизованных» слоёв редко относились к этим спящим с должным пониманием и сочувствием — сторонились их, всячески кривили физиономии, тем самым выказывая своё явное отвращение. Частенько демонстративно отходили прочь, бросая брезгливые взгляды. Нередко случалось и открытое проявление агрессии. В подобных противостояниях сонные пьянчужки, конечно же, были в меньшинстве и потому спешили ретироваться, спасаясь от грозно кудахчущей толпы. Крайне редко дело доходило до рукоприкладства. Чаще всё заканчивалось словесной перебранкой, во время которой представители «цивилизованных» демонстрировали ничуть не меньшую невоспитанность, нежели сами бродяги. И хотя великий Гёте завещал, что, живя с волками, следует и выть по-волчьи, полагаю, он не ожидал, что его наставление будет воспринято столь буквально и станет пользоваться такой популярностью, являясь при этом ещё и отговоркой для совести многих поколений.

Но, помимо спящих бродяг, в вагонах метро водилась и совершенно иная разновидность «обделённых». Речь идёт о всевозможных попрошайках, выклянчивающих себе железный рубль. Причин, из-за которых необходим этот самый рубль, было так много, что перечислять их не имеет никакого смысла. И если вдруг мои слова покажутся вам кошунственными, создающими впечатление обо мне как о человеке, напроць лишённом сострадания,

то да будет вам известно, что лишь десятая часть вымаливающих подаяния на самом деле являются теми, за кого себя выдают.

Случай, о котором я собираюсь поведать, заключился как раз таки с одной из «охотниц за милостыней». Искренна она была в своём горе или же нет, мне неизвестно. Дело, в общем-то, и не в ней.

Так, шагнув в полупустой вагон и усевшись поближе к выходу, я принялся осматривать остальных пассажиров. Люди как люди. Что можно сказать о них по первому взгляду? Пара сердобольных бабулек. Сонный мужик неопределённого возраста. Блондинка за тридцать, скрывавшая морщины густым слоем пудры и ревниво оглядывавшая молоденькую брюнетку напротив. Группа подростков без определённых признаков пола. Та самая брюнетка, державшаяся ото всех в сторонке и погружённая в созерцание своего мобильного телефона. Трио дагестанцев, развалившихся на сиденьях и лениво ковырявшихся в зубах. И ещё — парочка совсем уж неприметных личностей, которых я и разглядеть-то толком не смог.

Когда поезд тронулся, из соседнего вагона зашла старуха с табличкой на груди и с огромной медной кружкой в подрагивающей руке.

— Христа ради, помогите! Спасите, люди добрые, и да хранит вас Господь Бог! — запрочитала она.

Надпись на табличке была примерно следующая: «ПАМАГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖИТ! СРОЧНО ТРЕБУЮЦА ДЕНЬГИ НА АПЕРАЦИЮ ДОЧЕРИ!»

«Люди добрые» косились на табличку и нехотя лезли в карманы за мелочью. Самое интересное начиналось в тот миг, когда они опускали деньги в кружку. Одни застенчиво отводили взгляды, будто стыдясь своего поступка, другие, наоборот, гордо смотрели на старуху, вполне довольные собой.

К примеру, брюнетка на старуху и вовсе не взглянула — думаю, увлечённая своим мобильником, она вообще не замечала происходящего вокруг. Дагестанцы фыркнули и пренебрежительно отмахнулись. Блондинка засуетилась, разгребая ворох ненужных вещей у себя в сумочке, и после минуты усиленных поисков извлекла кошелек. Подозрительно оглядевшись, она вытащила пятьдесят рублей и опустила их в кружку, при этом всячески стараясь её не касаться.

На столь неслыханную щедрость старуха раскланялась, обещая молиться за здоровье блондинки...

— Чем больна твоя дочь?

Вопрос пусть и прозвучал негромко, тем не менее привлёк внимание многих.

Задал его худощавый тип, сидевший неподалёку от меня, — один из тех, кого я причислил к группе «неприметных личностей». На вид ему было где-то за сорок. В деловом костюме, гладко выбритый, с залысиной, лицо же вытянутое, с выпирающим

лбом и словно бы недоразвитой нижней челюстью. На носу очки с толстыми линзами, а на коленных металлических кейсах с кожаными вставками. В общем, натуральное воплощение стереотипных представлений о классическом бухгалтере.

— Простите?

— Я спросил: чем больна твоя дочь?

— В смысле? То есть как?

Поезд постепенно набирал скорость, начиная пронзительно громохатать.

— Женщина, — вздохнул он, сняв очки и устало помяв переносицу, — у тебя на табличке написано, цитирую: «Срочно требуются деньги на операцию дочери». Так? Так. Вот я и хочу знать: что это за операция такая? Чем же больна твоя дочь?

Вернув очки на место, он безо всякого выражения уставился на старуху.

— Э-эм... — она собралась с мыслями и, видимо, решила отступить по единственно верному пути. — Милок, откуда ж мне знать-то, что оно за хворь такая? Я ж в этих врачебных выраженищах не сильна. У меня всего четыре класса за спиной...

— Нет, нет, нет, — покачал головой мужчина. — Твоё образование меня совершенно не интересует. О нём я вполне могу судить по грамотности твоего письма. Важно лишь то, что на кону здоровье и жизнь твоей дочери. Естественно, если ты не лжёшь.

Тут он позволил себе улыбнуться.

— Господь с тобой! — перекрестилась старуха. — Да чтоб я... да на собственное дитя... да ни в коем разе!

— Хорошо.

— Чего же здесь хорошего? — выдохнула старуха.

— Верись в Бога?

Старуха озадаченно поглядела на мужика, пытаюсь понять, чего именно он от неё добивается.

— А что в Него верить-то? Он есть, и точка! Верь — не верь...

Не произнося ни слова, этот странный тип открыл кейс и что-то достал. Приглядевшись, я с удивлением обнаружил, что то была тысячерублёвая купюра.

Остальные пассажиры оживились.

— Вот. Получишь, если сейчас же отречёшься от Христа, — спокойно произнёс он.

Кто-то ахнул. У старухи же буквально челюсть отвисла. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями, после чего она залепетала:

— Батюшки родные... Господь с тобой, милый!

Что ж ты такое предлагаешь-то мне?! Да как так можно, чтоб я, истово верующая — под Богом всю жизнь проходившая! — да вдруг взяла и от него отказалась?!

— Ясно. Всё дело в цене. Понимаю. Цена решает многое, в том числе и вопросы веры. Попробуем иначе.

Под неусыпным наблюдением приблизительно десяти пар глаз он вновь полез в кейс, откуда достал целую пачку банкнот, по рыжему цвету которых нетрудно было догадаться об их номинале. Вытащив из пачки две бумажки, он прибавил их к уже имеющейся купюре.

— Отрекись от Христа, и это твоё.

Дагестанцы присвистнули, блондинка растерянно заморгала, а брюнетка, всё ж оторвавшаяся от мобилника, грустно вздохнула.

Старуха посмотрела на деньги, затем на мужчину. Если бы поезд так не шумел, то, думаю, можно было бы услышать, как учащённо бьётся её дряхлое сердце.

— Ты что ж творишь-то, ирод?!

«Ирод» широко улыбнулся, а затем совершил то, что заставило нервно заёрзать всех присутствующих в вагоне: он положил всю имеющуюся пачку пятитысячных купюр на кейс и повторил своё предложение.

Старуха моргнула один раз, другой, третий... — Здесь вполне хватит на операцию, — безразлично заметил он. — Если, конечно, у тебя на самом деле есть дочь... Ну же! Всего-то и требуется, что отказаться от глупого мифа.

Но старуха, кажется, и не слышала его. Она не отрывала глаз от пачки банкнот, лицо же её выражало мучительную внутреннюю борьбу.

— Я уверен, бабуля, что таких денег ты и в руках-то никогда не держала. Так что бери и ступай с миром.

— Господи, Господи... — слова застряли у неё в горле, а по морщинистым щекам потекли слёзы.

— Господь такого не предложит, и ты это прекрасно знаешь.

Сколько бы она так стояла, неизвестно. В следующий момент поезд начал замедляться и меньше чем через полминуты остановился. Ничего перед собой не разбирая, старуха кинулась прочь из вагона. Мужчина же молча убрал деньги и как ни в чём не бывало погрузился в свои мысли. На взгляды окружающих он не обращал никакого внимания, и чем закончилась его поездка, сказать не могу.

Через остановку я вышел. Поднявшись на улицу, облокотился о стену и закурил. А по Ярославскому вокзалу взад-вперёд сновали люди, скрипели роликовые колёсики сумок, трещал голос диспетчера. Какое-то время я размышлял над тем, чему стал невольным свидетелем. Пуская кольца табачного дыма, снова и снова возвращался к одному и тому же вопросу: что за цель он преследовал?

А ещё мне очень хотелось узнать: что бы случилось, если б поезд не остановился так скоро? Какое решение приняла бы старуха? Что бы она выбрала? Деньги или Господа, веру в которого пронесла через всю свою жизнь?

Конечно же, ответов на эти вопросы я так и не получил. Всё, что у меня было, — это лишь

предположения да теории, всевозможные домыслы и... почему-то уверенность, что ничто не ново в этом мире. Всякое случается. И даже такое.

Но я до сих пор уверен, что тем июльским днём, возвращаясь из Калуги домой, я впервые повстречал дьявола—того самого дракона, что является исключительно ко взрослым.

К вопросу о драконах. Рядом с нашим домом в Комсомольске находилось одноэтажное здание местного магазинчика. Только всё самое нужное: водка, сигареты, хлеб... ну и так, по мелочи. А сразу за магазинчиком красовался пустырь, уводящий к загаженному, чем-то напоминавшим мир после ядерной войны, лугам. И так вплоть до самого леса, величественной стеной возвышавшегося на горизонте, где для всей местной детворы пролегали границы Вселенной.

На пустыре имелось множество болот и озёр. Смердящая зеленоватая жижа с горами мусора и прочими атрибутами запустения—ну чем не место для ловли жуков-плавунцов? Их там, этих самых жуков, надо признать, было видимо-невидимо. И вот одним субботним апрельским вечером, когда по какой-то причине не удалось найти ни одного человека, кто изъявил бы желание сыграть в комсомольские прятки, я отправился к этому болоту. Предварительно перехватив в магазинчике «сникерс», я обогнул угол здания и двинулся к зловонным топам, внимательно изучая берега.

Жука-плавунца ловить не сложнее, чем краба, главное—изучить его привычки, приноровиться. Так, плавунца можно обнаружить по небольшому воздушному пузырьку—это происходит за счёт того, что насекомое дышит задницей, всплывая ею к поверхности. В такие моменты жук наиболее уязвим, и потому он старается дышать в тех местах, где всё покрыто тиной. И чтобы поймать его, нужно выявить это место, а после стремительно хватать. Именно эти воздушные пузырьки я и высматривал, тщательно исследуя болото и кривясь при виде множества спаривающихся лягушек. В результате я настолько увлёкся поисками, что не заметил, как со стороны леса ко мне подошли трое.

Снова трое, и снова у болота. Ничего не напоминает?

Выглядели эти незваные гости ещё страшнее моих тогдашних обидчиков: все бритые наголо, и каждый старше меня года на четыре. Они задумчиво остановились в стороне и с любопытством наблюдали за моими действиями. Почувствовав на себе посторонние взгляды, я обернулся и... замер. Душа ухнула в пятки, сердце иступлённо закашлялось. Злой чертёнок моей непутёвой жизни ехидно прошептал в самое ухо, что мне конец.

Троица приблизилась. Я бегло огляделся: никого кроме нас, а от дома меня отделяло целое болото—уввы, ходить по воде я умел только во снах.

— Ну, как дела?—обратился один из них.

Как я понял, то был вожак.

— Нормально,—промямлил я, постепенно приходя в ужас от одного вида их угрюмых чумазых лиц.

Такие типы убьют, кинут в болото и спокойно пойдут дальше. Ничего им за это не будет. Впервые в жизни я столкнулся не просто с хулиганьём, а с натуральными бандитами.

— Чего тут делаешь?

— Да так... Жуков ловлю...

— Кого?

Их физиономии удивлённо вытянулись, и в следующие десять минут я подробно разъяснял им, чем именно занимаюсь. Кто такие плавунцы, какой от них толк, как их обнаружить. Казалось, парни действительно заинтересовались. Походили за мной по берегу, поглядели на воду. А один даже вытащил водяного скорпиона и с надеждой спросил у меня, не плавунец ли это.

Когда им это занятие наскучило, они вновь устались на меня.

— А денжат у тебя не найдётся?

— Не, пацаны, чересслово, нету,—признался я.

Все мои бережения были получасом ранее спущены на «сникерс».

Парни не растерялись и в наиболее вежливой форме попросили подтвердить свои слова—пришлось вывернуть карманы. Ключи от квартиры с брелоком в форме черепа, старый огрызок перочинного ножа и шоколадка.

— Да-а, не густо...—протянул Вожак.

И тут вдруг активизировался третий—самый молчаливый из них. Он схватил мой брелок, отстегнул от ключей и, показывая его своим товарищам, начал что-то мычать. Не сразу до меня дошло, что парень не умеет говорить.

— Твой?—осведомился Вожак.

— Нет,—соврал я. Мне очень нравился этот брелок, я его на настоящий ножик выменял.—Отцовский. Он мне с ключами его отдал.

Вожак посмотрел на него и покачал головой. Тот обиделся и принялся мычать громче, демонстрируя всем брелок. А потом вдруг подскочил ко мне и попытался что-то изобразить на лице.

Меня затрясло от страха.

— Да не его это!—разозлился Вожак, выхватив брелок у него из рук.—Говорят же, отцовский!

Брелок вернулся ко мне, и я торопливо спрятал его в карман. Становилось темно.

— Ну ладно, ребят,—предпринял я робкую попытку.—Пойду я, поздно уже.

— Ага, давай...

Я не мог поверить в такую удачу, но когда уже собрался было неторопливым прогулочным шагом с самым беззаботным видом двинуться в сторону дома, меня вдруг окликнули.

— Д-да?—заикаясь, пробормотал я.

— Слушай... — Вожак замылся, отвёл взгляд. — А пожрать у тебя ничего нету? Может, угостишь нас своей шоколадкой? Голодные, как волки.

— Конечно, — с облегчением вздохнул я, протягивая им «сникерс». — Забирайте.

— Мы половинку.

— Да не, берите весь. Мне мать купила, а я сладкое не очень люблю, — в очередной раз соврал я, дабы мой поступок не выглядел как подачка.

— Классно, — видно было, что они обрадовались. И даже немой заулыбался. — Спасибо.

— Всего хорошего.

И я поспешил прочь, оставив этих троих на болоте. Пока шёл, так ни разу и не обернулся. А сердце гулко стучало в груди.

История повторилась, но в этот раз финал у неё был совершенно иной. А ещё я вдруг понял, что порой с драконами вовсе не обязательно воевать — можно договориться. И мне кажется, стоит замечать такие вещи. Согласны?

С этой троицей я встретился ещё один раз, но уже совершенно при других обстоятельствах.

Чуть выше упоминалось о моём отношении к спорту, однако родителей мало заботило моё мнение в подобных вопросах. Отец — прирождённый спортсмен — регулярно хмурился при виде моих пухлых щёк и ворчал на мать: дескать, та слишком меня балует, откармливает, «растит как на убой». Сам он был сухим и стройным, сплошь мышцы да кости, ни грамма лишнего веса. Лучший в своём кругу. Многочисленные медали и грамоты, подтверждённые разряды и прочее в том же духе. И всё это на фоне толстеющих и лысеющих офицеров, страдающих одышкой и повышенной потливостью.

В общем, как сын я его явно не устраивал. Следствием этого явилась бесконечная череда всевозможных спортивных секций. Я и плавал, и играл в большой теннис, и танцевать пытался, постоянно бегал, а уж сколько через меня прошло всевозможных тренеров по карате — и вовсе не сосчитать! При таком раскладе я догадывался, что в Комсомольске мне уготована очередная секция. Так оно и случилось. Секция эта находилась при воинской части, где в одном из спортзалов в специально отведённое для этого время человек-шкаф (именно таким он мне и запомнился, а никак не «сэнсэем», как он требовал себя величать) обучал офицерских детей восточным боевым искусствам. По сути, то была обыкновенная гимнастика: мы махали руками и ногами, делали растяжку, постоянно приседали. Изредка некоторых мальчишек выводили на так называемый татами и устраивали спарринги. Я в них никогда не участвовал, так как числился среди самых отстающих учеников, а правильнее сказать, был самым-самым из всех. Единственное, чему я там научился, так это считать до десяти по-японски.

И всё это под песни группы «Кино»:

Тёплое место, но улицы ждут
Отпечатков наших ног.
Звёздная пыль на сапогах.
Мягкое кресло, клетчатый плед,
Не нажатый вовремя курок.
Солнечный день в ослепительных снах!

А мы тренировались, лелея глупую надежду стать великими бойцами. Такими, как Брюс Ли, например. Или каким был сам Цой в фильме «Игла». Звали меня в этой секции просто — Жиртрест. Коротко и ясно, и даже нисколько не обидно. Отчасти ещё и потому, что к подобным прозвищам я давно уже привык и всеми силами старался не обращать на них внимания.

Увы, среди юных каратистов друзей как таковых у меня не имелось, зато враги появились очень быстро. Четвёрка самых лучших учеников. Худые и наглые мальчишки, прожившие в Комсомольске бог весть сколько лет, а возможно, и всю свою жизнь. Очередные драконы моей жизни, договориться с которыми было нельзя. Наверное, ещё и потому, что для них я стал своеобразным подарком небес: наконец-то появился некто, над кем можно было глумиться и измываться. Не то чтобы меня как-то мучили, но свою дозу насмешек и оскорблений я получал регулярно.

Жили эти мальчишки в дальнем дворе и к нам во двор практически не ходили (лишь один раз попросились принять участие в комсомольских прятках, и я снисходительно принял их), но ревностно следили за тем, чтобы и я не появлялся у них. Мол, то их территория, и всяким жиртрестам там делать нечего. Я строго придерживался этого неписаного закона, так как столкновений совершенно не хотел, а ещё больше боялся последующей расправы.

Но всё рано или поздно меняется. Как-то раз нам с другом, который тоже не пользовался особым почётом у сильных мира сего (худой и невысокий, вечно улыбчивый, звали его Антон), потребовалось навестить одноклассника. Дело было экстренной важности: обмен наклейками — теми самыми, что заворачивали в жевательные резинки. Мальчишка, к которому мы шли, вечно болел, отсиживался дома и никуда не ходил. Поэтому мы тихой сапой пробрались в запретный двор, по-быстрому провернули все свои делишки и уже собирались улизнуть, когда у угла дома встретились с опостылевшей четвёркой.

В тот день нас не побили, но обкидали камнями и комьями грязи, пригрозив в следующий раз «отделать по полной программе». И всё это на глазах у хихикающих одноклассниц.

Очередной позор, верно? Только бы не стать вновь посмешищем, да?

В общем, ушли мы с опущенными головами, так как стыдно было смотреть друг на друга. А через

полторы недели—где-то в это время я повстречался с тройкой беспризорников на болоте—вновь крался в тот двор, всё к тому же вечно больному другу, по всё тому же неизменно важному делу. Чтобы, не дай Бог, снова не натолкнуться на врагов, мы решили отправиться ближе к вечеру—глупо надеялись, что сумерки надёжно укроют нас от злых глаз.

Не тут-то было!

Компания уже поджидала нас у подъезда, когда мы возвращались после выгодной сделки по обмену наклейками.

— Ну и чё? Вы тупые, что ли?—обратился к нам один из них сразу же, как мы вышли и оказались в окружении.— До вас, дебилы, с первого раза не доходит, а?

— Мы это...

— Чё?

— Это...

— Наш двор, чучело! Понял, да?—и меня сильно толкнули в плечо.— Ты, свинья, тут не имеешь права ошиваться. Понял, да?!

— Я понял. Но мы это... мы просто...

— Чё?!

В общем, по их лицам читалось, что в этот вечер нам точно несдобровать. Они были сильнее, их было больше, да и вечер прекрасно способствовал грядущей расправе. Всё указывало на то, что мы обманули самих себя.

И в довершение за всем этим, притихнув, зачарованно наблюдала стайка одноклассниц на лавочке неподалёку.

— Ну так чё?

У них уже чесались кулаки, и я с содроганием представлял, как нас будут бить—по лицу и по животу, долго и больно. Антон тоже не выглядел особо воодушевлённым и испуганно озирался по сторонам в поисках возможной помощи. Но, кроме оживающих развязки девчонок, больше никого не было.

— Чё с вами делать-то, а?

— Мы это...

— Чё?

И вот тут помощь подоспела с самой неожиданной стороны.

— Эй, ты!

Все обернулись. Знакомое мне трио вольготно прислонилось к стеночке у дальнего угла дома, не без интереса поглядывая в нашу сторону.

— Слышь,—позвал Вожак,—давай-ка сюда топай, разговор есть. И это... банду свою захвати.

Я сплотнул и тут же услышал, как то же самое сделали все остальные. Лица моих недругов побледнели, а глаза испуганно забегали. Эти трое им совершенно не понравились. И в данном случае я их прекрасно понимал.

— Ба-а, да ты глухой, что ли?—рявкнул Вожак.— Может, мне к тебе подойти, а? Давай резче, шевели поршнями уже!

Испуганная четвёрка нехотя двинулась к беспризорникам. Мы же с Антоном остались стоять на месте, во все глаза следя за дальнейшим развитием событий. Как только перепуганные «хозяева двора» подошли, Вожак выступил вперёд и сверху вниз посмотрел на любителя «чёкать». На манер старого друга, он обхватил бедолагу за шею и, улыбаясь остальным беззубой улыбкой, поволок свою жертву куда-то за угол.

— Кабздец ему,—констатировал Антон.— Это кто такие вообще?

— Знакомые,—ответил я.

— Ничего себе знакомые,—присвистнул Антон.— Это ж бандюганы какие-то! Они его там, часом, не убьют?

— Чего не знаю, того не знаю...

На самом деле было немного страшно за судьбу моих обидчиков. Одно дело унижать и обкидывать грязью, отстаивая свои права на двор и выделяясь перед девчонками, и совсем другое дело, когда в так называемые мальчишеские разборки вступают люди вроде этих беспризорников. Игры играми, но я понятия не имел, что Вожак собирается с ними делать. И от этого было жутковато, потому что несчастных «каратистов» могли попросту избить до полусмерти, а того хуже—и пырнуть ножом.

Но... всё обошлось.

Четверо перепуганных и теперь уже самых обыкновенных мальчишек вынырнули из-за угла минут через десять и, словно стайка встревоженных ланей, стремительно юркнули по своим подъездам. При этом они всячески старались не смотреть в мою сторону.

Затем из-за дома показался Вожак. Он приветливо махнул мне рукой и крикнул:

— Как дела?

— Хорошо,—помахал я в ответ.

Вожак удовлетворительно кивнул, развернулся и неторопливо пошёл прочь.

— Невероятно!—выдохнул Антон.

— Не поверишь,—пробормотал я.— Нас спасла шоколадка. Чёртов «сникерс»...

И всё это произошло на глазах у восторженных одноклассниц! Да, такое тоже порой случается: иногда один дракон может избавить тебя от другого.

То оказался ещё один мой комсомольский триумф, ведь с тех пор в секции надо мной больше никто не смеялся. Остальные ученики относились ко мне с почтением и неким благоговейным страхом, пусть я по-прежнему бегал хуже всех и не в силах был выполнить ни одного норматива.

Зато после того случая я мог беспрепятственно ходить в любой двор, а в школе девчонки посматривали на меня с тайным восхищением.

И всё это по цене одной шоколадки...

А ещё, быть может, хорошего отношения к людям?

Спустя какое-то время я уехал из Комсомольска, оставив городу свой маленький подарок—игру в прятки. Мы семьёй погрузились в самолёт, и мысли мои были только о Ярославле, в который теперь уже совсем не хотелось возвращаться. День выдался солнечным: лето постепенно надвигалось на нас. Я глядел на причудливые и вместе с тем величественные облака; глядел на яркие блики света, переливающиеся на обшивке самолётного крыла. Снова тошнило и ужасно закладывало уши. Хотелось уже как можно скорее очутиться на месте, выскочить из этого жуткого самолёта и вдохнуть полной грудью привычный земной воздух.

Я покидал Комсомольск точно так же, как некогда покинул Шикотан, а позже—Завитинск. Я уезжал из очередного волшебного города на краю света, как ещё не раз буду уезжать из многих городов. Что-то у меня при этом останется, а чего-то я лишусь. И всё это, наверное, и есть жизнь—бесконечное движение каравана от одного сказочного места к другому...

Свой брелок в виде черепа я подарил Антону. Он тоже что-то подарил мне. Обещали не забывать друг друга. Также я попросил свою банду, чтобы они не забрасывали комсомольские прятки, но... каким-то образом знал, что без меня эта игра зачахнет. Неким шестым чувством я понимал это, и потому было грустно.

А ещё с тоской думал о том, что в самолёте вновь придётся сосать эти отвратительные леденцы. Фу!

В кармане же у меня хранилась маленькая баночка с запёртым в ней жуком-плавунцом. Комсомольское насекомое отправлялось в далёкий Ярославль. Вместе со мной.

И как же странно теперь стоять на перроне, ожидая своего поезда, и думать, думать, думать—о том, как когда-то ты путешествовал в таких вот поездах по восемь суток, а теперь не в силах вытерпеть какие-то несчастные четыре часа, разделяющие Москву и Ярославль. Или двенадцать часов между Ярославлем и Санкт-Петербургом. А то и сутки, что затесались где-то на пути от Москвы до Одессы... Что-то всё-таки изменилось, ведь да?

А нужно ли оно было, это что-то?

Так порой ко мне приходит странное понимание меня: я начитался классиков, всевозможных философов, книг по истории, религии, эзотерике; я могу поддержать практически любой разговор, оспаривать и развивать всевозможные умные мысли и идеи; я относительно сносно разбираюсь в людях—что там они думают, почему говорят так, а поступают этак. Эмоции и прочее. Цельный «мир лжи, лицемерия и бездарных фантазмагорий», как выразился один человек из прошлого.

Мой мир. Я создал его и своё «я», даже заставил окружающих поверить в это, отобрав у них всякую надежду... Надежда? Сильнее может быть разве что вера—пусть и утверждают обратное. Но я никогда не встречал Вер, не влюблялся в них с первого взгляда. Поэтому вера—это не моё.

Так что-то создал, что-то потерял. Так на что-то понадеялся и чего-то лишился. Это мой мир, при этом не имеющий ко мне никакого отношения.—Женя, а ты хоть когда-нибудь улыбаешься?—изредка спрашивают меня.

И вот что на это можно ответить? Ведь когда-то я был очень даже улыбочивым и общительным мальчуганом. А теперь как-то вдруг сделался нелюдимым, вечно хмурым, отрицающим всё и вся.

«Я отрицаю всё, и в этом суть моя»,—говорил Мефистофель. Но то Мефистофель, а я всего-навсего человек. Один из нескольких миллиардов. Что-то ищущий, от чего-то спасающийся. Живущий сам по себе. Очередное метание души—как замысловатые круги вертячек на водной глади, как погонщик верблюдов, что смотрит на барханы, на миражи, на звёзды по ночам...

И что же будет дальше?

Я почти уже засыпаю, и, может быть, мне вновь приснится океан.

Буду гулять по песчаному берегу и смотреть на воду, в глубинах которой скрываются столь любимые некогда крабы. А по пятам за мной последуют злые телевизионные антенны. Но я не стану убежать: знаю, что они не догонят. Не успеют, ведь то лишь очередное моё сновидение.

Вовсе не обязательно, что это кошмар.

И вот я, уже совсем взрослый, гуляю по своей второй родине—по Шикотану. В реальности, после мартовской трагедии в Японии, быть может, уже и не смогу посетить этот остров...

А так хочется!

Хочется ещё раз вживую увидеть фантазии далёкого детства—морских жителей, пиратов с подбитого корабля, драконов и мотыльков с большими крыльями. Повстречать всех друзей, с которыми нас развела жизнь. Хочется вновь очутиться в тех солнечных деньках, пропитанных предвкушением грядущих приключений, ужасами Жуткого дома или, скажем, тайнами Ведьминой горы, играми в прятки и ловлей жуков...

И знаете что? Мне кажется, это не так уж и невозможно.

А теперь мне пора закругляться. И я хочу поблагодарить вас за то, что разделили со мной это странное путешествие по мирам моей памяти. Несмотря на какое-либо отсутствие сюжета (а в некоторых местах, возможно, и логики), хаотичность повествования и прочее, надеюсь, вам оно понравилось не меньше, чем мне. Ведь это просто

полуночные мысли, воспоминания. Важные для меня, любопытные, быть может, для вас.

В любом случае один бы я на такое не отважился, поэтому — спасибо.

Ныне же я собираюсь расправить паруса моей лодки «Энтерпрайз» и пуститься вплавь по океану. Посмотрим, на какой тропический остров приведёт меня эта затея. На какой бы ни привела,

больше чем уверен, что где-то там, вполне возможно — даже обязательно! — будут зарыты сокровища...

Ночью же я улягусь под открытым небом, как и подобает отважному искателю приключений, и буду глядеть на далёкие звёзды. А волны и ветер станут нашептывать мне слова давно забытой колыбельной. Что-то об идущем вдалеке караване и о весне...